

ОЛДОС
ХАКСЛИ

Кром желтый
Шутовской хоровод



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Олдос Хаксли

**Кром желтый. Шутовской
хоровод (сборник)**

«АСТ»

1921, 1923

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Хаксли О. Л.

Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник) / О. Л. Хаксли —
«АСТ», 1921, 1923 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-110720-8

«Кром желтый» – литературный дебют Олдоса Хаксли. Внешне сюжет произведения прост и незатейлив – молодой поэт приезжает погостить к друзьям в загородное поместье. Однако это лишь фон, на котором развивается глубокая душевная и психологическая драма легендарного «потерянного поколения» – драма невысказанных слов, несбывшихся надежд, несовершенных действий. Драма трагической разобщенности и конфликта между чувственным и рациональным, между эмоцией и мыслью, между идеалом и реальностью... И вновь Хаксли возвращается к «потерянному поколению» в романе «Шутовской хоровод», но уже не как поэт, его воспевающий, а как сатирик, обличающий его душевную импотенцию и творческое бессилие, его эгоистическую заикленность на себе и элементарную неприспособленность к повседневной жизни. Художники, разучившиеся творить, философы, разучившиеся мыслить, женщины, утратившие смысл жизни, и мужчины, живущие в погоне за адреналином, – Хаксли хорошо знает своих персонажей, и это знание делает его особенно беспощадным.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-110720-8

© Хаксли О. Л., 1921, 1923

© АСТ, 1921, 1923

Содержание

Кром желтый	7
Глава 1	7
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	16
Глава 5	20
Глава 6	23
Глава 7	28
Глава 8	31
Глава 9	33
Глава 10	38
Глава 11	40
Глава 12	44
Глава 13	48
Глава 14	57
Глава 15	60
Глава 16	63
Глава 17	65
Глава 18	71
Глава 19	74
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Олдос Хаксли
Кром желтый. Шутовской хоровод
CROME YELLOW
ANTIC HAY

© Aldous Huxley, 1921, 1923

© Перевод. И.Я. Доронина, 2016

© Перевод. И.А. Романович, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Кром желтый

Глава 1

По этому участку дороги никогда не ходил экспресс. Все поезда – коих было не много – останавливались на каждой станции. Дэнис наизусть помнил все названия: Боул, Триттон, Спейвин-Делауорр, Нипсвич-фор-Тимпани, Уэст-Баулби и, наконец, Кэмлет. В Кэмлете он всегда выходил, позволяя поезду лениво ползти дальше, одному богу известно куда, в глубь зеленого сердца Англии.

Сейчас состав с пыхтением отходил от перрона Уэст-Баулби, так что – хвала Господу – пункт назначения Дэниса был следующей остановкой. Он снял вещи с багажной полки и аккуратно сложил в углу, противоположном тому, где сидел сам. Бессмысленное усилие. Но надо же чем-то занять себя. Закончив, он снова рухнул на свое место и закрыл глаза. Было невыносимо жарко.

Ох уж это путешествие! Два часа, полностью вычеркнутые из жизни; два часа, за которые он мог бы сделать так много – например, сочинить прекрасное стихотворение или испытать озарение, прочитав очень важную книгу. А вместо этого он с омерзением глотает пыль от подушки, на которой лежит.

Два часа. Сто двадцать минут. За это время можно было сделать все что угодно. Все. Ничего. О, сколько сотен часов у него было, и как он ими распорядился? Истратил попусту, расплескал драгоценные минуты так, словно хранивший их резервуар был бездонным. Дэнис застонал в сердцах и обругал себя последними словами вместе со всеми своими работами. Какое право он имел сидеть на солнышке, занимать угловые места в вагонах третьего класса, вообще жить? Никакого, никакого, никакого.

Чувство безысходности и безымянной тоски охватило его. Ему было двадцать три года, и – о! – как же мучительно он сознавал этот факт.

Дернувшись напоследок, состав остановился. Вот наконец и Кэмлет. Дэнис вскочил, нахлобучил шляпу на глаза, разворошил свой багаж, высунулся из окна и закричал: «Носильщик!», потом схватил в обе руки по чемодану, но вынужден был снова поставить их, чтобы открыть дверь купе. Благополучно выгрузив наконец себя и свои пожитки на перрон, он помчался вдоль состава вперед, к багажному вагону.

– Велосипед! Велосипед! – запыхавшись, сказал он кондуктору. Сейчас Дэнис чувствовал себя человеком действия. Кондуктор, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжал методично, один за другим, выставлять на перрон багаж с бирками «Кэмлет».

– Велосипед! – повторил Дэнис. – Зеленый, мужской, на имя Стоуна. СТО-У-НА.

– Всеу свое время, сэр, – мягко успокоил его кондуктор. Это был крупный осанистый мужчина с флотской бородкой, которого не сложно представить в домашней обстановке, за чаем, в окружении многочисленного семейства. Должно быть, именно таким тоном он увещевал своих расшалившихся детишек. – Всеу свое время, сэр.

Человек действия в Дэнисе сдулся, словно проткнутый воздушный шарик.

Оставив багаж на вокзале, чтобы позже кого-нибудь прислать за ним, он продолжил путь на велосипеде. Отправляясь в деревню, он всегда брал с собой велосипед. Это было частью его теории здорового образа жизни. Встаешь однажды утром в шесть часов и крутишь педали до самого Кенилуорта или Стратфорда-на-Эйвоне или еще до чего-нибудь. А в радиусе двадцати миль всегда найдутся норманские церкви и тюдоровские усадьбы, которые можно осмотреть в рамках дневной экскурсии. Правда, почему-то он ни разу их так и не посетил, но все равно

приятно было осознавать, что велосипед при нем и что в одно прекрасное утро он и впрямь, вероятно, встанет в шесть часов.

Добравшись до вершины холма, длинный пологий склон которого начинался от кэмлетского вокзала, Дэнис сразу ощутил душевный подъем. Почувствовал, что мир прекрасен. Голубые холмы вдали, нивы, белеющие на склонах хребта, вдоль которого извивалась дорога, на фоне неба – безлесье очертания гор, меняющиеся по мере его продвижения, – да, все это было прекрасно. Напряжение отпустило его при виде красоты видневшихся внизу лощин, глубоко врезающихся в горные склоны. Извилины, извилины – медленно повторял он, пытаясь найти точное слово, чтобы выразить свой восторг. Извилины... нет, не то. Дэнис повел рукой, словно желая зачерпнуть искомое слово из воздуха, и чуть не свалился с велосипеда. Каким же словом поточнее описать изгибы этих маленьких долин? Они были изящны, как линии человеческого тела, исполнены утонченности истинного искусства...

Galbe. Вот нужное слово; но оно французское. *Le galbe évase de ses hanches*¹ – какой французский роман обходится без этого выражения? Когда-нибудь он составит специальный словарь для романистов. *Galbe, gonfle, goulü; parfum, peau, pervers, potelé, pudeur; vertu, volupté*².

Но надо же все-таки найти подходящее слово. Извилины, извилины... Эти маленькие долины очертаниями напоминали чаши, вылепленные в форме женской груди; они казались оставшимся на земле отпечатком тела какого-то исполинского божества, некогда прилегшего отдохнуть на здешних холмах. Нет, слишком тяжеловесно, однако, размышляя подобным образом, он, похоже, подбирается ближе к тому, что хочет найти. Отпечаток, печать, стать, истекать... Он мысленно бродил по гулким коридорам ассонансов и аллитераций, удаляясь все дальше и дальше от цели. Его чаровала красота слов.

Очнувшись, Дэнис снова перенесся в реальный мир и увидел, что находится на гребне холма. Отсюда дорога резко ныряла вниз, сбегая в довольно просторную долину. Там, на противоположном склоне, чуть выше подножия, стоял Кром, цель его путешествия. Он нажал на тормоз; вид Крома заслуживал того, чтобы задержаться на нем взглядом. Фасад с тремя возвышающимися над ним башнями стремительно возносился вверх прямо из гущи темных деревьев парка. Дом купался в ярких солнечных лучах, и старинный кирпич играл розоватыми оттенками. Какими насыщенными и богатыми были эти оттенки, какими великолепно сочными! И одновременно какими строгими! Склон становился все круче и круче; велосипед набирал скорость, несмотря на то что Дэнис жал на тормоз. А потом он немного отпустил тормозную ручку и уже в следующий момент мчался к подножию во весь опор. Пять минут спустя он въезжал в ворота огромного двора. Парадная дверь была гостеприимно распахнута. Дэнис прислонил велосипед к стене и молча вошел, чтобы застать их врасплох.

¹ Изящные очертания ее бедер (фр.). – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.

² Изгиб, припухлость, алчный; аромат, кожа, извращенный, пухлый, стыдливость, добродетель, наслаждение (фр.).

Глава 2

Он никого не застал врасплох; некого было заставить. Кругом царила тишина; Дэнис переходил из одной пустой комнаты в другую, с удовольствием глядя на знакомые картины и мебель, отмечая незначительные нарушения порядка, свидетельствовавшие о присутствии в доме людей. Он даже порадовался тому, что все куда-то ушли: было так занятно бродить по дому, словно бы изучая обезлюдевшие Помпеи. Какой мог представить былую жизнь археолог по этим останкам; кем населил бы он эти пустые помещения? Вдоль стен длинной галереи рядами висели ценные, но (хотя, разумеется, никто не признался бы в этом публично) весьма скучные картины итальянских примитивистов, расставлены китайские статуэтки и предметы безликой мебели неведомой эпохи. В гостиной стены были обшиты деревянными панелями, и стояли гигантские обитые мебельным ситцем кресла – оазис уюта среди аскетичного антиквариата, предназначенного не иначе как для умерщвления плоти. Малую гостиную с бледно-лимонными стенами заполнили крашенные венецианские стулья, столики в стиле рококо, зеркала и современная живопись. Библиотека была прохладной и просторной, в ней царил полумрак, стены от пола до потолка покрывали книжные стеллажи, изобилующие почтенными фолиантами. Столовая – по-английски солидная, располагающая к рюмке портвейна, с огромным столом красного дерева, стульями и буфетом восемнадцатого века, с развешенными по стенам семейными портретами и тщательно прописанными изображениями животных – того же восемнадцатого века. Какой вывод напрашивался из этих наблюдений? Галерея и библиотека в значительной мере отражали вкусы Генри Уимбуша, малая гостиная – отчасти вкусы Анны. Вот и все. На имуществе, приумноженном десятью поколениями семьи, ныне живущие ее представители оставили лишь несколько незначительных следов.

На столе в малой гостиной Дэнис заметил свой сборник стихов. Как деликатно! Он взял книгу и раскрыл ее. Она представляла собой то, что критики называют «тонкой книжицей». Взгляд выхватил наугад:

Сияет Луна-парк, а тьма
Над ним сомкнулась, как тюрьма.
И Блэкуэл смотрит в мрак ночной
Могилой яркой и цветной³.

Он положил книгу на место, покачал головой и вздохнул. «Как гениален я был в то время!» – вспомнил Дэнис слова престарелого Свифта. Прошло полгода с тех пор, как книга вышла в свет; ему было приятно думать, что больше он никогда не напишет ничего подобного. Интересно, кто мог ее здесь читать? Анна? Хорошо бы. И, быть может, она наконец узнала себя в стройной лесной нимфе, чьи движения напоминают колыхания молодого деревца на ветру. «Женщина, которая была деревом» – так назвал он стихотворение. По выходе книги он подарил ее Анне в надежде, что стихотворение поведает ей то, чего Дэнис не смел озвучить. Но она ни разу о ней не упомянула.

Он закрыл глаза и представил Анну в красном бархатном плаще, которая грациозно вплывала в лондонский ресторанчик, где они иногда обедали вместе, – она всегда приходила с опозданием на три четверти часа, между тем как он сидел за столом, снedaемый волнением, раздражением и голодом. О, она была неисправима!

Ему пришло в голову, что хозяйка дома могла находиться у себя в будуаре. Это вполне вероятно, нужно пойти посмотреть. Будуар миссис Уимбуш располагался в центральной

³ Здесь и далее стихотворения даны в переводе Р. Дубровкина. – *Примеч. ред.*

башне, окнами выходя на сад перед домом. Узкая лесенка штопором вилась наверх из холла. Дэнис поднялся и постучал в дверь.

– Войдите.

Ну да, она здесь; а он так надеялся, что никто не откликнется. Дэнис открыл дверь.

Присцилла Уимбуш лежала на софе. На коленях у нее покоился бювар, она задумчиво посасывала кончик серебряного карандаша.

– О, привет! – сказала она, поднимая голову. – Я и забыла, что вы должны приехать.

– Боюсь, что я тем не менее приехал, – обиженно произнес Дэнис. – Вы уж простите.

Миссис Уимбуш рассмеялась. И говорила, и смеялась она басом. В ее облике все было мужским. Крупное квадратное немолодое лицо с массивным, далеко выдающимся вперед носом и маленькими зеленоватыми глазками венчала монументальная замысловатая прическа невероятного оранжевого оттенка. Глядя на эту женщину, Дэнис всегда вспоминал Уилки Барда⁴ в роли оперной дивы: «Вот почему мечтаю я петь в о-о-опере, о-о-опере, о-о-опере...»

Сегодня на ней было лиловое шелковое платье с высоким воротником, шею украшало жемчужное ожерелье. Этот шикарный наряд под стать вдовствующей герцогине, намекающий на принадлежность к особам королевского достоинства, делал ее еще больше и придавал вид водевильного персонажа.

– Что подливали все это время? – спросила она.

– Ну-у-у... – протянул Дэнис почти сладострастно. В его голове уже сложился потрясающе забавный рассказ о лондонской жизни, и он был готов с удовольствием представить его. – Начать с того, что... – продолжил он.

Но было слишком поздно. Вопрос миссис Уимбуш относился к разряду тех, что филологи называют риторическими, ответа он не требовал. Это было лишь украшение светской речи, положенная дань вежливости.

– А я как раз занималась своими гороскопами, – поведала она, даже не отдавая себе отчета в том, что прервала его.

Несколько уязвленный, Дэнис решил приберечь свой рассказ для более благодарных ушей и в порядке мести удовлетворился тем, что весьма холодно произнес:

– О?

– Я рассказывала вам, как выиграла в этом году четыреста фунтов на Гранд Нэшнл?⁵

– Да, – ответил Дэнис все так же холодно и односложно. Она рассказывала ему об этом минимум шесть раз.

– Удивительно, не правда ли? Все дело в расположении звезд. В былые времена, когда не прибегала к помощи звезд, я проигрывала тысячи. А теперь, – она сделала многозначительную паузу, – вот вам, пожалуйста – четыре сотни на Гранд Нэшнл. И все благодаря звездам.

О «былых временах» Дэнису хотелось бы узнать побольше. Но он был слишком благодарен и скромен, чтобы расспрашивать. Единственное, что он знал, – в тех времена таилось нечто скандальное. Старушка Присцилла – разумеется, не такая старая в те времена и гораздо более бойкая – проматывала кучу денег, раскидывала их пригоршнями и охапками на всех скачках страны. Да к тому же еще увлекалась азартными играми. По разным легендам, цифра просаженных ею денег варьировалась, но неизменно была высока. Генри Уимбушу пришлось продать американцам кое-что из своих примитивистов – картину Таддео из Поджибонси, друга Таддео, и четыре или пять полотен неизвестного художника из Сиенской школы. То был переломный момент. Впервые в жизни Генри проявил твердость и, судя по всему, небезрезультатно.

⁴ Известный в начале двадцатого века английский актер мюзик-холла, одной из самых популярных песен-пародий в его исполнении была «Я хочу петь в опере».

⁵ Крупнейшие скачки с препятствиями; проводятся ежегодно весной на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля.

Веселая разгульная жизнь Присциллы резко закончилась. Теперь она почти все время проводила в Кrome, пестуя некую весьма таинственную болезнь и в порядке утешения развлекалась «Новым мышлением»⁶ и оккультизмом. Однако страсть к скачкам все еще обуревала ее, и Генри, будучи в глубине души человеком добрым, выделял ей сорок фунтов в месяц на ставки. Большая часть дней уходила у Присциллы на составление лошадиных гороскопов, и ставки она делала по науке, как диктовали звезды. Играла миссис Уинбуш и на футбольном тотализаторе, у нее был толстый блокнот, в который она вносила гороскопы игроков всех команд Лиги. Процесс сопоставления одиннадцати гороскопов с одиннадцатью другими представлял собой очень тонкую и трудную работу. Например, любой матч между «Шпорами»⁷ и «Виллой»⁸ вызывал на небесах катаклизмы такого масштаба и сложности, что Присцилла иногда неверно предсказывала результат – удивляться здесь нечему.

– Так жаль, что вы не верите в подобные вещи, Дэнис, так жаль, – посетовала миссис Уинбуш, отчетливо выговаривая каждое слово.

– Не могу сказать, что разделяю ваше сожаление.

– О, лишь потому, что вы не знаете, каково это – верить. Вы понятия не имеете, какой интересной и волнующей становится жизнь, когда вы действительно верите. Все вокруг приобретает свой смысл; ничто из сделанного вами уже не кажется незначительным. Это, знаете ли, делает жизнь такой увлекательной. Например, моя жизнь здесь, в Кrome. Вы можете подумать, что это тоска зеленая. Ничего подобного. Я нисколько не скучаю по старым временам. Ведь у меня есть мои Звезды... – Она подняла листок бумаги, лежавший на бюваре. – Гороскоп Инмэна⁹, – объяснила миссис Уинбуш. – Подумываю этой осенью попытать счастья во время чемпионата по бильярду. Я не должна терять связь с Беспредельным. – Она неопределенно повела рукой. – А еще у меня есть и иной мир, и духи, и собственная аура, и миссис Эдди¹⁰, мудро утверждающая, что все болезни – из головы, и христианские чудеса, и миссис Безант¹¹. Все это восхитительно. Скучать не приходится ни минуты. Представить не могу, как я обходилась без этого прежде, в пресловутые старые времена. Все те развлечения – тлен и суета, вот что это было, тлен и суета, ничего больше. Обеды, чаепития, ужины, театры, поздние ужины – и так каждый день. Конечно, в процессе было забавно. Но после не оставалось почти ничего. У Барбекью-Смита в новой книге об этом неплохо написано. Где же она?

Присцилла приподнялась и, протянув руку, взяла книгу, лежавшую на журнальном столике у изголовья софы.

– Кстати, вы с ним знакомы? – спросила она.

– С кем?

– С мистером Барбекью-Смитом.

Дэнис что-то слышал о нем. Имя Барбекью-Смита мелькало в воскресных газетах. Он писал о правилах поведения. И, кажется, был автором книги «Что должна знать юная девушка».

– Нет, лично незнаком, – ответил он.

⁶ Религиозное движение, возникшее в США в последней четверти девятнадцатого века и придающее особое значение верованиям оккультного («метафизического») характера.

⁷ Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур».

⁸ Футбольный клуб «Астон Вилла».

⁹ Мельбурн Инмэн (1878–1951) – профессиональный игрок в английский бильярд и снукер, многократный чемпион мира.

¹⁰ Имеется в виду Мэри Энн Морс Бейкер (1821–1910), известная больше как Мэри Бейкер Эдди (по фамилии третьего мужа, Асу Эдди), или просто миссис Эдди, основательница секты «Христианская наука», а также «Науки об исцелении», основанной на тезисе, что лечить человеческие болезни нужно не при помощи медицины, а по примеру Христа – духовным воздействием.

¹¹ Анни Безант (1847–1933) – известный теософ, борец за права женщин, писатель и оратор, сторонница независимости Ирландии и Индии, последовательница тайных и оккультных учений, возглавляла Международный смешанный масонский орден «Право человека», куда принимались женщины наравне с мужчинами.

– Я пригласила его на следующие выходные. – Миссис Уимбуш полистала книгу. – Вот этот пассаж. Я его отметила. Всегда отмечаю то, что мне нравится.

Держа книгу в вытянутой руке, поскольку была немного дальнзорка, а другой рукой сопровождая чтение соответствующей жестикуляцией, она начала медленно, с выражением:

– «Что есть меховые манто стоимостью в тысячи фунтов, что есть четвертьмиллионные доходы?» – Миссис Уимбуш с театральным видом подняла голову от книги, при этом ее оранжевая куафюра торжественно качнулась.

Дэнис с любопытством посмотрел на нее. Интересно, подумал он, это ее настоящие волосы, выкрашенные хной, или парик из тех, что рекламируют в журналах?

– «Что есть троны и скипетры?»

Оранжевый парик – да, должно быть, это все же парик – снова качнулся.

– «Что есть веселье богачей, роскошь наделенных властью, чванство аристократии, что есть все эти безвкусные наслаждения высшего общества?»

Голос, вопросительно возвышавшийся от фразы к фразе, вдруг упал, и ответ прозвучал, словно гулкий удар:

– «Они – ничто. Тлен, пух одуванчика на ветру, лихорадочный жар. То, что воистину важно, происходит в душе. Видимое сладостно, но тысячу крат важнее невидимое. Значимо в жизни только оно». – Миссис Уимбуш опустила книгу. – Прекрасно, не правда ли?

Дэнис предпочел не рисковать, высказывая свое мнение, и лишь неопределенно промычал:

– Гм-м.

– О, это превосходная книга, просто замечательная, – сказала Присцилла, пропуская страницы одну за другой под большим пальцем, зажимающим обрез. – Здесь есть пассаж о лотосах на пруду. Знаете, он сравнивает Душу с прудом лотосов. – Она снова раскрыла книгу и прочла: – «В саду у моего друга есть пруд с лотосами. Он лежит в чаше, окруженной кустами диких роз и шиповника, из которых все лето слышится прекрасное пение соловьев. Кристально чистая вода пруда оmyвает цветы лотоса, и птицы прилетают, чтобы испить ее и искупаться в ней...» Ах, это напомнило мне... – произнесла Присцилла, захлопнув книгу и утробно рассмеявшись, – это напомнило мне о том, что случилось в нашем бассейне после вашего отъезда. Мы разрешили деревенским приходить купаться в нем по вечерам. И вы даже представить себе не можете, что из этого вышло.

Она подалась вперед и доверительно зашептала, то и дело посмеиваясь.

– Они купались все вместе... я сама видела это из окна. Чтобы убедиться, я велела принести бинокль... Да, все так и было... – Миссис Уимбуш снова разразилась хохотом. Дэнис тоже рассмеялся. Барбекью-Смит полетел на пол.

– Пора проверить, готов ли чай, – сказала Присцилла. Она встала с софы и направилась к выходу, шурша струящейся шелковой юбкой. Дэнис последовал за ней, мурлыча себе под нос: «Вот почему мечтаю я петь в о-о-опере, о-о-опере, о-о-опере... В оп-оп-опере, опере петь. – И в конце уже без слов: – Тара-ра-ра».

Глава 3

Терраса перед домом представляла собой узкую полоску дерна, обнесенную снаружи изящной каменной балюстрадой. По краям ее украшали две кирпичные беседки. Прямо от балюстрады земля круто уходила вниз футов на тридцать, поэтому терраса словно парила над раскинувшейся на склоне лужайкой. Если смотреть снизу, высокая сплошная стена террасы, кирпичная, как и сам дом, производила грозное впечатление фортификационного сооружения – замкового бастиона, с бруствера которого, поверх воздушной бездны, на уровне глаз открывался вид на всю округу. Внизу на лужайке, окаймленной плотными рядами фигурно подстриженных тисов, располагался обложенный камнем бассейн. За ним простирался парк с огромными густыми вязами и обширными зелеными газонами, а на дне лощины поблескивала узкая речка. На ее дальнем берегу снова начинался длинный пологий подъем, расчерченный лоскутами возделанных земель. В конце долины справа возвышалась цепь голубых холмов.

Чайный стол был накрыт под сенью одной из беседок, и за ним уже собралась компания, когда появились Дэнис с Присциллой. Генри Уимбуш разливал чай. Его можно было отнести к одному из тех лишенных возраста, никогда не меняющихся мужчин, которому можно было дать и тридцать, и сколько угодно; на самом деле его возраст приближался к шестидесяти. Дэнис знал Генри почти столько же, сколько помнил себя. И за все эти годы его бледное, довольно красивое лицо ничуть не постарело – как и его светло-серый котелок, который он носил постоянно, зимой и летом, – оно оставалось спокойным, безмятежным, лишенным всякого выражения и возрастных признаков.

Рядом с ним, но отгороженная от него и от остального мира почти непроницаемым барьером глухоты, сидела Дженни Маллион. Ей было, наверное, лет тридцать: курносый носик, белая кожа, легкий румянец на щеках, каштановые волосы, заплетенные в косы и улитками закрученные над ушами. Она сидела обособленно, пребывая в таинственной башне своей глухоты и с высоты ее взирая на мир острым проницательным взглядом. Что думала она о мужчинах, о женщинах, обо всем, что ее окружало? Этого Дэнис никогда не мог понять. Загадочная отстраненность Дженни немного смущала. Вот и сейчас казалось, что какая-то понятная лишь своим шутка позабавила ее, потому что она улыбалась и ее ярко блестящие карие глаза напоминали два стеклянных шарика.

По другую руку от Генри Уимбуша сияло по-детски розовое и невинное, серьезное и круглое, как луна, лицо Мэри Брейсгёрдл. Никто бы не дал ей ее почти полных двадцати трех лет. Короткая стрижка «под пажа» гибким золотым колоколом обрамляла ее щеки. Взгляд огромных фарфорово-синих глаз выражал неподдельную серьезность, порой с оттенком озадаченности.

Рядом с Мэри, выпрямив спину, сидел маленький сухопарый мужчина. Своим видом мистер Скоуган напоминал одного из вымерших птерозавров третичного периода: нос – словно клюв, темные глаза – блестящие и подвижные, как у дрозда; но ничего от мягкости и изящества птичьего оперения в нем не было. Морщинистая коричневая кожа на лице казалась сухой и чешуйчатой; руки напоминали передние конечности крокодила. Его движения отличались непредсказуемостью и резкостью, как рывки ящерицы; голос был высоким, как звук флейты, и сухим. Школьный товарищ и ровесник Генри Уимбуша, мистер Скоуган выглядел гораздо старше и в то же время по-юношески живее, чем благородный аристократ с лицом под стать его серому котелку.

Если мистер Скоуган напоминал ископаемого ящера, то Гомбо был абсолютно, до мозга костей человеком. В старинных, тридцатых годов девятнадцатого века, учебниках естествознания он мог бы служить моделью для иллюстрации вида *homo sapiens* – в те времена этой чести обычно удостоивался лорд Байрон. Прибавь ему волос да укороти воротник, в нем и

впрямь было бы что-то байроническое, более того, Гомбо происходил родом из Прованса – черноволосый молодой корсар лет тридцати, с ослепительно сверкающими зубами и горящим взором. Дэнис смотрел на него с завистью. Он завидовал его таланту: если бы он умел писать стихи так же хорошо, как Гомбо – рисовать! Кроме того, он завидовал внешности Гомбо, его жизнерадостности и естественности манер. Стоит ли удивляться, что он нравится Анне? Нравится? Может, ее чувства серьезнее, с горечью размышлял Дэнис, шагая рядом с Присциллой по длинной террасе.

Между Гомбо и мистером Скоуганом, спинкой к приближающимся Дэнису и Присцилле стоял низко разложенный шезлонг, над которым как раз склонился Гомбо. Он то улыбался, то смеялся, энергично жестикулируя при этом. Из шезлонга доносился тихий ленивый смех, при звуке которого Дэнис напрягся. О, этот смех, как хорошо он знал его! Какие чувства он в нем вызывал! Дэнис ускорил шаг.

В низко опущенном шезлонге грациозно и вальяжно полулежа располагалась Анна. Лицо в обрамлении светло-каштановых волос, с очаровательно правильными чертами было почти кукольным. Случались моменты, когда она и впрямь казалась не более чем куклой, – ее овальное лицо с бледно-голубыми глазами, опущенными длинными ресницами, не выражало решительно ничего, напоминая безучастную восковую маску. Она приходилась племянницей Генри Уимбушу и эту бесстрастность унаследовала как одну из фамильных черт, которая передавалась из поколения в поколение и в женской ипостаси принимала вид пустого кукольного личика. Но из-под этой кукольной маски, словно веселая танцевальная мелодия сквозь однообразие басовых аккордов, пробивались другие наследные черты Уимбушей: готовность в любой момент рассмеяться, слегка ироничное любопытство и быстрая смена настроения. Когда Дэнис подошел к шезлонгу, она по-кошачьи, как он считал, улыбалась: губы сомкнуты, но от их уголков к щекам разбегались две едва заметные складки. В этих складках, в морщинках вокруг полуприкрытых глаз, во взгляде таилась чуть сардоническая веселость.

После подобающих приветствий Дэнис сел на стул между Гомбо и Дженни, остававшийся свободным.

– Как поживаете? – прокричал он, обращаясь к Дженни.

Та кивнула и загадочно улыбнулась, будто состояние ее здоровья являлось тайной, не подлежащей разглашению.

– Что нового случилось в Лондоне с тех пор, как я уехала? – поинтересовалась Анна из глубины шезлонга.

Момент настал: потрясающе забавный рассказ дождался своего часа.

– Ну, начать с того, что... – счастливо улыбаясь, произнес Дэнис.

– Присцилла рассказала вам о нашей выдающейся археологической находке? – Генри Уимбуш наклонился к нему через стол. Рассказ, на который было столько надежд, завял в зародыше.

– Начать с того... – в отчаянии сделал еще одну попытку Дэнис, – что балет...

– На прошлой неделе, – мягко, но непреклонно продолжил мистер Уимбуш, – мы раскопали пятьдесят ярдов дубовых дренажных труб; это просто древесные колоды, выдолбленные изнутри. Чрезвычайно интересно. То ли они были уложены монахами в пятнадцатом веке, то ли...

Дэнис слушал с угрюмым видом.

– Невероятно, – безразлично произнес он, когда мистер Уимбуш закончил. – Совершенно невероятно.

Он взял еще кусочек кекса. Ему даже расхотелось рассказывать про Лондон, из него словно выпустили весь пар.

Между тем строгий взгляд Мэри уже некоторое время был устремлен именно на Дэниса.

– Что вы пишите в последнее время? – спросила она.

Ну что ж, немного поболтать о литературе тоже недурно.

– А, пустяки – стихи, прозу, – ответил он.

– Прозу? – настороженно повторил последнее слово мистер Скоуган. – Вы пишете прозу?

– Да.

– Уж не роман ли?

– Да, роман.

– Бедный мой Дэнис! – воскликнул мистер Скоуган. – И о чем же?

Дэнису стало не по себе.

– Да так, о вполне обычных, знаете ли, вещах.

– Ну разумеется, – простонал мистер Скоуган. – Хотите, я перескажу вам сюжет? Малыш Перси, герой, никогда не отличался спортивностью, но был чрезвычайно умен. Он, как положено, окончил частную школу и, опять же как положено, университет, после чего прибыл в Лондон, где свел дружбу с творческой богемой. Его гложет тоска, он несет на своих плечах все тяготы мира. Он пишет захватывающий, блестящий роман, осторожно пробует себя на любовном поприще и в конце книги удаляется в сияющее будущее.

Дэнис ярко зарделся. Мистер Скоуган изложил план его романа с ошеломляющей точностью. Он натужно рассмеялся.

– Ничего подобного, – не согласился он. – Мой роман совсем о другом.

Это была геройская ложь. Хорошо, что у меня пока написано только две главы, подумал он, преисполняясь решимости разорвать их сегодня же вечером, как только распакует вещи.

Не обратив ни малейшего внимания на его возражения, мистер Скоуган продолжил:

– И почему вы, молодежь, все время пишете о таких совершенно неинтересных темах, как внутренний мир незрелых молодых людей и художников? Профессиональным антропологам, может, и интересно иногда переключаться с изучения верований австралийских аборигенов на философские пристрастия студента-старшекурсника, но нельзя же рассчитывать, что человека взрослого, вроде меня, тронет история его духовных терзаний. А ведь, в конце концов, даже в Англии, Германии и России взрослых людей больше, чем юношей. Что же касается художника, то он озабочен проблемами, совершенно чуждыми тем, что занимают обычного взрослого человека, – проблемами чисто эстетического свойства, которые не волнуют таких людей, как я; описание процессов, происходящих у него в душе, так же навевает скуку на рядового читателя, как чистая математика. Серьезную книгу о художниках как таковых невозможно читать, а книги о художниках как любовниках, мужьях, алкоголиках, героях и тому подобном не стоят того, чтобы их множить. Жан-Кристоф – заезженный литературный персонаж, так же как профессор Радиум из «Всякой всячины» – заезженный образ ученого.

– Прискорбно слышать, что я настолько неинтересен, – вставил Гомбо.

– Что вы, дорогой мой! – поспешил утешить его мистер Скоуган. – Не сомневаюсь, что в качестве любовника или алкоголика вы – в высшей степени занимательная особа. Но будьте честны, признайте: как комбинатор форм на холсте вы скучны.

– Совершенно с вами не согласна! – воскликнула Мэри. Почему-то, разговаривая, она всегда слегка задыхалась, и речь ее, словно пунктирная линия, прерывалась короткими вздохами. – Я знала многих художников и всегда находила их внутренний мир очень интересным. Особенно в Париже. Например, Чаплицкий – мы часто встречались с Чаплицким в Париже этой весной...

– О, ну тогда вы – исключение, Мэри. Вы – исключение, – повторил мистер Скоуган. – Вы – *femme supérieure*¹².

Лицо Мэри, залитое румянцем удовольствия, напоминало полную луну.

¹² Выдающаяся женщина (*фр.*).

Глава 4

Проснувшись на следующий день, Дэнис увидел, что солнце сияет, а небо безмятежно. Он решил надеть белые фланелевые брюки – белые фланелевые брюки, черный пиджак с шелковой рубашкой и новым галстуком персикового цвета. А какие туфли? Очевидным выбором казались белые, но очень уж привлекательно выглядели черные лаковые. Несколько минут он лежал в постели, размышляя над этим вопросом.

Прежде чем спуститься к завтраку – остановив в конце концов выбор на лакированной коже, – он критически оглядел себя в зеркале. Волосы могли бы быть более золотистыми, подумал Дэнис. Их желтизну приглушает какой-то зеленоватый оттенок. А вот лоб хорош. Его высота уравнивала некоторую срезанность подбородка. Нос тоже мог бы быть подлиннее, но и так неплохо. Глаза лучше бы были не зелеными, а голубыми. Зато пиджак скроен отлично и благодаря небольшим набивкам в нужных местах делает фигуру более представительной, чем есть на самом деле. Ноги, обтянутые белой фланелью, были длинными и изящными. Удовлетворенный, Дэнис спустился по лестнице. Большая часть компании уже позавтракала. Он оказался наедине с Дженни.

– Надеюсь, вы хорошо спали, – сказал он.

– Да. Прекрасная погода, не находите? – поинтересовалась Дженни, дважды коротко кивнув. – А вот на прошлой неделе были такие ужасные грозы.

Параллельные прямые, подумалось Дэнису, пересекаются лишь в бесконечности. Он мог бы до скончания века рассуждать о благотворности сна, она все равно отвечала бы ему рассуждениями на метеорологические темы. Возможно ли вообще установить контакт с кем бы то ни было? Мы все – параллельные прямые. Дженни была лишь чуть-чуть параллельней других.

– Грозы всегда наводят страх, – заметил он, накладывая в тарелку овсянки. – Вы так не думаете? Или вы выше страхов?

– Нет. Во время грозы я всегда ложусь в постель. Горизонтальное положение гораздо безопаснее.

– Почему?

– Потому что молния ударяет сверху вниз, – Дженни дополнила свое объяснение соответствующим жестом, – а не по горизонтали. И если вы лежите, положение вашего тела не совпадает с направлением тока.

– Это очень изобретательно.

– Это так, как есть.

Оба замолчали. Дэнис покончил с овсянкой и положил себе бекона. Не найдя более подходящей темы для разговора и вспомнив почему-то нелепую фразу мистера Скоугана, он повернулся к Дженни и спросил:

– А вы считаете себя *femme supérieure*?

Ему пришлось повторить вопрос несколько раз, прежде чем его смысл дошел до Дженни.

– Нет, – почти возмущенно ответила она, расслышав наконец вопрос. – Разумеется, нет. А что, кто-то высказал такое предположение?

– Нет, – произнес Дэнис. – Мистер Скоуган так назвал Мэри.

– В самом деле? – Дженни понизила голос. – Сказать вам, что я думаю об этом человеке? Я думаю, что в нем есть нечто зловещее.

Сделав такое заявление, она уединилась в своей глухоте, словно в башне из слоновой кости, и захлопнула за собой дверь. Дэнису больше ничего не удалось из нее вытянуть и даже заставить слушать. Она лишь улыбалась ему и время от времени кивала.

Он вышел на террасу выкурить первую после завтрака трубку и почитать утреннюю газету. Часом позже, спустившись вниз, Анна обнаружила его все еще углубившимся в чте-

ние. К тому времени он добрался до судебной хроники и брачных объявлений. Дэнис встал навстречу ей, лесной нимфе в белом муслине.

– О боже, Дэнис! – воскликнула она. – Вы абсолютно неотразимы в этих белых брюках! Застигнутый врасплох, он не нашелся с ответом.

– Вы разговариваете со мной так, будто я ребенок в новом костюмчике, – сказал Дэнис, изображая раздражение.

– Но именно так я вас и воспринимаю, дорогой.

– А не стоило бы.

– Ничего не могу с собой поделать. Я ведь настолько старше вас.

– Нет, как вам это нравится? – возмутился он. – Всего-то на четыре года.

– Но если вы действительно неотразимы в своих белых брюках, почему бы мне не отметить это? И зачем вы их надели, если не рассчитывали на то, что будете в них неотразимы?

– Пойдемте в сад, – предложил Дэнис.

Он был выбит из колеи; разговор развивался нелепым и непредвиденным образом. Дэнис планировал совершенно другое начало: он первым должен был сказать: «Вы сегодня восхитительно выглядите» или что-нибудь в этом роде, на что она ответила бы: «Вам так кажется?», после чего последовало бы многозначительное молчание. Вместо этого Анна первой заговорила о злосчастных брюках. Его это раздосадовало; гордость была задета.

Красота той части сада, которая сбегала от подножия террасы к бассейну, определялась не столько цветом, сколько формами. В лунном свете она была так же прекрасна, как и в солнечных лучах. Серебро воды и темные в любой час дня и ночи, в любое время года очертания тисов и падубов являли собой доминанту ландшафта. Черно-белый пейзаж. Для любования красками имелся цветник, он располагался по одну сторону бассейна и был отгорожен от него вавилонской стеной гигантских тисов. Вы проходили через тоннель этой живой изгороди, открывали калитку в стене и безо всякой подготовки, к полному своему изумлению, оказывались в многокрасочном мире. Шпалеры июльских цветов пламенели и трепетали под солнцем. Окруженный высокой стеной, сад напоминал огромный резервуар тепла, ароматов и красок.

Дэнис придержал для спутницы маленькую железную калитку.

– Все равно как из монастырской кельи перейти в восточный дворец, – сказал он и глубоко вобрал в себя теплый, напоенный цветочными ароматами воздух. – «Благоуханный фейерверк!...»¹³ Как там дальше?

Отменный залп! Ложатся кругом
Огни цветные друг за другом,
Неслышной канонадой манят
И запахом садов дурманят.

– У вас ужасная привычка цитировать, – сказала Анна. – Поскольку я никогда не могу угадать ни содержание, ни автора, я чувствую себя униженной.

Дэнис извинился.

– Это издержки образованности. Почему-то представляется, что ситуация становится более реальной и живой, если приложить к ней чужие готовые фразы. Существует столько красивых названий и имен – монофизит, Ямбликус, Помпонацци; вытаскиваешь их победно на свет – и кажется, что само их магическое звучание ставит точку в споре. Вот до чего доводит образование.

¹³ Эта и следующая цитаты из стихотворения «Об Эпплтон-Хаусе. К милорду Фэрфаксу» Эндрю Марвелла (1621–1678). Эндрю Марвелл – английский поэт, один из последних представителей школы метафизиков и один из первых мастеров поэзии английского классицизма.

– Хорошо вам сетовать на избыток образования, – произнесла Анна, – а я вот стыжусь его нехватки. Взгляните на эти подсолнухи! Ну не чудо ли они?

– Черные лица и золотые короны – они похожи на эфиопских царей. Мне нравится, как синицы приникают к цветку и аккуратно выклеывают семечки, в то время как другие, неделikatные птицы, роются в грязи в поисках пищи и с завистью смотрят на них снизу вверх. Смотрят с завистью? Боюсь, это опять слишком литературно. Снова эта образованность. Вечно она вылезает. – Он замолчал.

Анна к этому времени уже сидела на скамейке, стоявшей под сенью старой яблони.

– Продолжайте, я слушаю, – проговорила она.

Дэнис не стал садиться, он ходил перед скамейкой и разглагольствовал, энергично жестикулируя:

– Книги, книги... Их читаешь так много, а с людьми общаешься так мало и так мало видишь мир. Огромные толстые книги о вселенной, о психологии, об этике. Вы представить себе не можете, как их много. За последние пять лет я прочел тонн двадцать или тридцать. Двадцать тонн рассуждений, представляете? И вот, придавленный этой тяжестью, оказываешься вытолкнутым в реальный мир.

Он продолжал ходить туда-сюда. Голос его то поднимался, то падал, замолкал на миг, затем начинал звучать снова. Он поводил кистью, иногда взмахивал всей рукой. Анна смотрела и слушала молча, словно присутствовала на лекции. Он был славным мальчиком и выглядел сегодня прелестно – просто прелестно!

– Вот так, нашпигованный готовыми представлениями обо всем, и вступаешь в мир, – продолжал Дэнис. – В твоей голове уже сложилась некая философия, и ты пытаешься подогнать под нее жизнь... А следовало бы сначала пожить, а потом уже изобретать философию, соответствующую жизни... Ведь жизнь, события, факты невероятно сложны; а идеи, даже самые мудреные, обманчиво просты. В мире идей все просто; в жизни все неясно и запутано. Стоит ли удивляться, что начинаешь чувствовать себя жалким и несчастным?

Последний вопрос Дэнис задал, остановившись перед скамейкой и раскинув руки, в позе распятия; постояв так мгновение, он бессильно уронил их.

– Бедный мой Дэнис! – посочувствовала Анна. Он и впрямь был жалок, стоя перед ней в белых фланелевых брюках. – Но стоит ли страдать из-за подобных вещей? Мне кажется, это чересчур.

– Вы прямо как Скоуган! – с горечью воскликнул Дэнис. – Видите во мне лишь объект изучения для антрополога. Впрочем, наверное, так оно и есть.

– Нет-нет, – запротестовала Анна и подобрала юбку, освобождая ему место рядом. Он сел. – Почему вы не можете смотреть на мир как на нечто само собой разумеющееся, принимать вещи такими, каковы они есть? – спросила она. – Так ведь гораздо проще.

– Разумеется, проще, – согласился Дэнис. – Но этот урок нужно усваивать постепенно. И для начала сбросить с себя двадцатитонный груз чужого знания.

– А я всегда принимаю вещи такими, какие они есть, – сказала Анна. – По-моему, это так очевидно: радуешься всему приятному, стараешься избегать дурного. О чем тут еще говорить?

– Для вас – не о чем. Но это потому, что вы родились язычницей; я тоже изо всех сил стараюсь им язычником. Но я ничего не могу принимать на веру, ничему не могу радоваться просто так. Красота, удовольствия, искусство, женщины – мне непременно требуется найти объяснение, оправдание всему, что доставляет наслаждение. Иначе я не могу наслаждаться с чистой совестью. Мне непременно нужно придумать какую-нибудь историю о красоте и притвориться, будто она имеет отношение к добру и истине. Вынужден признать, что искусство – это процесс, в ходе которого из хаоса воссоздается богоданная реальность. Удовольствие – наслаждение опьянением, танцем, любовью – одна из мистических троп к слиянию с беспредельным. Что же касается женщин, то я постоянно убеждаю себя, что они – дорога к божественному. И

вы только подумайте: лишь теперь я начинаю понимать, какая все это глупость! Мне кажется невероятным, что есть люди, которым удалось избежать столь чудовищных заблуждений.

– А мне кажется еще более невероятным, – заметила Анна, – что есть люди, которые пали их жертвой. Хотела бы я посмотреть на себя, представляющую, будто мужчины – дорога к божественному. – Удовольствие и злоба отразились в ее улыбке, обозначившей две маленькие складки в уголках рта, а в прикрытых глазах искрился смех. – Что вам нужно, Дэнис, так это маленькая пухленькая молодая жена, стабильный доход и необременительная приятная, но постоянная работа.

«Что мне нужно, так это вы», – вот что следовало бы ему выпалить, вот что он страстно хотел ей сказать. Но не смел. Желание бороться в нем с робостью. «Что мне нужно, так это вы!» – Дэнис мысленно выкрикивал эти слова, но ни звука не сорвалось с его губ. Он смотрел на нее с отчаянием. Неужели она не видит, что происходит у него внутри? Неужели не понимает? «Что мне нужно, так это вы». Он должен это сказать, должен... должен.

– Пойду-ка я искупаюсь, – сказала Анна. – Очень жарко.

Возможность была упущена.

Глава 5

Мистер Уимбуш предложил гостям осмотреть свою ферму, и вот они вшестером – Генри Уимбуш, мистер Скоуган, Дэнис, Гомбо, Анна и Мэри – стояли перед низкой оградой свинарника, заглядывая в одну из клетушек.

– Это хорошая свиноматка, – рассказывал мистер Уимбуш. – Она принесла четырнадцать поросят.

– Четырнадцать? – недоверчиво переспросила Мэри. Она перевела изумленный взгляд на Генри, потом обратно – на копошащуюся массу *élan vital*¹⁴, оживлявшую загон.

Необъятных размеров свинья лежала на боку прямо посередине, позволив атаковать круглый черный живот, обрамленный двумя рядами сосков, целой армии маленьких коричнево-черных поросят, которые с бешеной жадностью терзали их. Свинья время от времени беспокойно шевелилась или негромко хрюкала от боли. Одному поросенку, самому маленькому и слабому из помета, никак не удавалось заполучить место на этом пиршестве. Пронзительно визжа, он метался взад-вперед, пытаясь протиснуться между более сильными братьями и сестрами и даже влезть на их плотненькие черные спинки, чтобы добраться до материнского молока.

– Их действительно четырнадцать, – произнесла Мэри. – Вы совершенно правы. Я сосчитала. Невероятно!

– А вот у свиноматки в соседней клетушке, – продолжал мистер Уимбуш, – очень плохие результаты – всего пять поросят. Я дам ей еще один шанс. Если она и в следующий раз плохо себя покажет, откормлю и зарежу. А там – кабан. – Он указал на дальний загон. – Прекрасный зверь, не правда ли? Но свое лучшее время он уже прожил. С ним тоже придется расстаться.

– Как это жестоко! – воскликнула Анна.

– Зато практично и исключительно реалистично, – заметил мистер Скоуган. – Эта ферма являет собой модель здорового, по-отечески разумного управления: заставить их размножаться и работать, а когда период плодотворного размножения, работы и производительности минует, – отправить на убой.

– Похоже, животноводство – сплошная непристойность и жестокость, – посетовала Анна.

Дэнис протянул руку и металлическим наконечником трости начал почесывать длинную щетинистую спину борова. Животное чуть подалось вперед, словно желая оказаться поближе к предмету, доставлявшему ему столь приятные ощущения, и замерло, тихо похрюкивая от удовольствия. Многолетняя грязь, отшелушиваясь, сыпалась с его боков серыми пыльными хлопьями.

– Как приятно, – проговорил Дэнис, – оказать кому-то добрую услугу. Думаю, почесывая этого кабана, я получаю не меньшее удовольствие, чем он. Если бы всегда можно было проявлять доброту вот так просто, чтобы тебе это ничего не стоило...

Хлопнула калитка, послышались тяжелые шаги.

– Доброе утро, Роули! – сказал Генри Уимбуш.

– Доброе утро, сэр, – ответил старик Роули.

Это был самый почтенный из работников фермы – высокий, крепкий мужчина, с прямой спиной, с седыми бакенбардами и чеканным горделивым профилем. Степенный, с вальяжными манерами и поразительным чувством собственного достоинства, Роули походил на важного английского вельможу девятнадцатого века. Он остановился рядом с группой экскурсантов, и с минуту все наблюдали за животными в тишине, нарушаемой лишь похрюкиванием да чав-

¹⁴ Жизненная энергия (*фр.*).

каньем грязи под твердыми копытами. Наконец Роули – не торопясь, веско и с достоинством, как делал все, – обратился к Генри Уимбушу, указывая на копошащихся в грязи животных:

– Вы только посмотрите на них, сэр. Недаром их зовут свиньями.

– И впрямь недаром, – согласился Генри.

– Этот человек приводит меня в замешательство, – признался мистер Скоуган, когда старик Роули удалился, медленно и с достоинством. – Какая мудрость, какая рассудительность, какое понимание истинных ценностей! «Не даром их зовут свиньями». Да. Хотелось бы мне иметь такое же основание сказать: «Не даром мы называемся людьми».

Они двинулись дальше, к коровникам и конюшням ломовых лошадей. По дороге им повстречалась пятерка белых гусей, видимо, вышедших, как и они сами, подышать воздухом в это прекрасное утро. Гуси, гогоча, затоптались на месте, а потом, вытянув шеи и угрожающе шипя, словно змеи, бросились врассыпную. На просторном дворе месили навоз и грязь рыжие телята. В отдельном загоне стоял бык, массивный, как паровоз. Это был очень смирный бык с уныло-тупым выражением на морде. Уставившись на визитеров коричневыми, налитыми кровью глазами, он – видимо, вспоминая утреннюю трапезу – срыгивал, задумчиво жевал, глотал и срыгивал снова. Его хвост свирепо метался из стороны в сторону, и казалось, что он не имеет ничего общего с неподвижной тушей. Между короткими рогами кольцами вился треугольник густой рыжей шерсти.

– Восхитительное животное, – заметил Генри Уимбуш. – Породистый, племенной. Но староват становится, как и кабан.

– Откормите его и – на убой, – посоветовал мистер Скоуган с чувствительностью старой девы, отчетливо произнося каждое слово.

– А нельзя ли дать животным немного отдохнуть от деторождения? – спросила Анна. – Мне так жаль бедолаг.

Мистер Уимбуш покачал головой.

– Мне лично, – сказал он, – очень нравится видеть, как там, где раньше жила одна свинья, подрастают четырнадцать новых. Созерцание дикой, естественной жизни действует освежающе.

– Рад слышать это от вас, – горячо вклинился Гомбо. – Больше жизни – вот что нам нужно. Я – за размножение; все должно расти и множиться в полную силу.

Гомбо ударился в лирику. Все должны иметь детей – у Анны они должны быть, у Мэри они должны быть – десятки, десятки детей. Свою точку зрения он подкрепил, похлопав тростью по кожаным бычьим бокам. Мистер Скоуган обязан передать свой интеллект маленьким Скоуганам, а Дэнис – маленьким Дэнисам. Бык повернул голову посмотреть, что происходит, несколько секунд пялился на трость, барабанившую по его бокам, потом, судя по всему, удовлетворенный, отвернулся снова, словно ничего и не происходило. Бесплодие одиозно, неестественно, это грех перед жизнью. Жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Художник прошелся тростью по ребрам смиренно стоящего животного.

Прислонившись к насосу, Дэнис стоял чуть поодаль и наблюдал за группой. Ее ядро представлял страстный, жизнелюбивый Гомбо. Остальные слушали, обступив его: Генри Уимбуш – спокойно и вежливо; Мэри, убежденная сторонница контроля за рождаемостью, – приоткрыв рот и возмущенно сверкая глазами; Анна смотрела куда-то перед собой из-под опущенных век и улыбалась; рядом с ней стоял мистер Скоуган, прямой и нестигаемый, как металлический шест, его поза резко контрастировала с текучей грацией Анны, которая предполагала плавность движения даже в состоянии покоя.

Гомбо замолчал, и Мэри, раскрасневшаяся и сердитая, открыла было рот, чтобы возразить ему. Но не успела: прежде чем она произнесла хоть слово, мистер Скоуган начал свою речь, вклинить в которую не представлялось возможным. Волей-неволей Мэри была вынуждена отступить.

– Даже ваше красноречие, мой дорогой Гомбо, – вещал мистер Скоуган, – даже ваше красноречие не в состоянии обратить человечество в другую веру и убедить его в усладе простого размножения. С изобретением граммофона, кинематографа и автоматического оружия богиня прикладной науки облагодетельствовала мир иным даром, более ценным, нежели эти, – средствами, позволяющими разграничить любовь и размножение. Эрос для тех, кто того желает, стал совершенно независимым богом; его прискорбная связь с Луциной¹⁵ может быть разорвана кем угодно по желанию. А в ходе последующих веков – кто знает? – мир, вероятно, увидит их более полное разделение. Я лично жду этого с оптимизмом. Там, где экспериментировали, но, несмотря на научное рвение, не преуспели великий Эразм Дарвин¹⁶ и мисс Анна Сьюард, Лебедь Личфилда¹⁷, наши потомки могут оказаться более удачливыми в своих опытах. Обезличенное рождение придет на смену той уродливой биологической системе, которую дала нам Природа. Необозримые государственные инкубаторы с громоздящимися друг над другом рядами «заряженных» пробирок будут обеспечивать мир тем количеством населения, которое ему требуется. Институт семьи исчезнет; общество, подорванное в самой своей основе, будет вынуждено искать иные опоры; а Эрос, очаровательно и безответственно свободный, будет весело порхать с цветка на цветок, словно бабочка в солнечном свете.

– Звучит восхитительно, – сказала Анна.

– Отдаленное будущее всегда так звучит.

Взгляд фарфорово-синих глаз Мэри, еще более серьезный и озадаченный, чем обычно, не отрывался от мистера Скоугана.

– Пробирки? – переспросила она. – Вы действительно в это верите? Пробирки...

¹⁵ Богиня деторождения в римской мифологии.

¹⁶ Эразм Дарвин (1731–1802) – английский врач, натуралист, изобретатель и поэт. Один из наиболее значимых деятелей британского Просвещения, дед Чарлза Дарвина.

¹⁷ Анна Сьюард (1747–1809) – английская поэтесса романтического толка, которую часто называют Лебедем Личфилда по старинному городу в графстве Стаффордшир, где она провела почти всю свою жизнь.

Глава 6

Мистер Барбекью-Смит появился в субботу как раз к чаю. Это был невысокого роста породный мужчина с очень большой головой и без шеи. В молодости его очень расстраивало отсутствие шеи, но он утешился, прочтя у Бальзака в «Луи Ламбере», что все великие мира сего обладали этой особенностью по простой и очевидной причине: величие есть не больше не меньше, чем гармоничное взаимодействие функций мозга и сердца; чем короче шея, тем ближе эти два органа находятся друг к другу; *argal*¹⁸... Это было убедительно.

Мистер Барбекью-Смит принадлежал к старой школе журналистики. Он щеголял львиной головой с гривой припорошенных сединой черных, удивительно неопрятных волос, которые зачесывал назад с широкого, но низкого лба. И сам он почему-то всегда казался чуточку, самую малость, грязноватым. В молодости он шутливо называл себя человеком богемы. Сейчас перестал. Сейчас он был учителем, своего рода пророком. Тираж некоторых из его книг об утешении и духовном учении превысил сто двадцать тысяч экземпляров.

Присцилла принимала гостя со всеми возможными почестями. Он никогда прежде в Кром не бывал, и она провела его по дому. Мистер Барбекью-Смит пришел в восторг.

– Какая оригинальность, какая подлинность старины, – твердил он. Голос у него был богатый, елеинно вкрадчивый.

Присцилла рассыпалась в похвалах его последней книге.

– Я нахожу ее восхитительной! – воскликнула она в своей преувеличенно-восторженной манере.

– Счастлив, что она доставила вам удовольствие, – ответил мистер Барбекью-Смит.

– О, это потрясающая книга! А пассаж о пруде лотосов просто великолепен.

– Я знал, что он вам понравится. Знаете, он снизошел на меня из ниоткуда. – Барбекью-Смит повел рукой, словно бы обводя ею астральный мир.

Они вышли в сад, где их ждал чай. Новый гость был должным образом представлен остальным.

– Мистер Стоун тоже писатель, – сказала Присцилла, знакомя его с Дэнисом.

– Что вы говорите?! – Мистер Барбекью-Смит снисходительно улыбнулся, снизу глядя на Дэниса с выражением олимпийской благосклонности. – И что же вы пишете?

Дэнис был в бешенстве, ситуацию усугубило еще и то, что он густо покраснел. Неужели у Присциллы совсем нет чувства такта? Она ставит между ними – между Барбекью-Смитом и им – знак равенства. Да, они оба писатели в том смысле, что оба пользуются пером и чернилами. На вопрос мистера Барбекью-Смита он ответил:

– Да так, ничего особенного, сущие пустяки, – и отвернулся.

– Мистер Стоун – один из наших молодых поэтов. – Это был голос Анны. Он бросил на нее сердитый взгляд, и она улыбнулась, разозлив его еще больше.

– Превосходно, превосходно, – сказал мистер Барбекью-Смит и ободряюще сжал Дэнису руку. – Бард – благородное призвание.

Как только окончилось чаепитие, мистер Барбекью-Смит извинился: до обеда ему предстояло кое-что написать. Присцилла отнеслась к этому с полным пониманием. Пророк удалился в свою обитель.

В гостиную мистер Барбекью-Смит спустился без десяти восемь. Он находился в прекрасном расположении духа и, прежде чем сойти по лестнице, улыбнулся сам себе и довольно потер большие белые руки. Кто-то в гостиной тихо играл на пианино, беспорядочно перескакивая с одной мелодии на другую. Интересно, кто бы это мог быть? Одна из молодых дам,

¹⁸ От *лат.* *ergo* – итак, следовательно. Часто употребляется без продолжения в качестве указания на логическую ошибку.

наверное, подумал он. Но это оказался Дэнис, который, как только писатель вошел в комнату, поспешно вскочил в смущении.

– Продолжайте, продолжайте, – заговорил мистер Барбекью-Смит. – Я очень люблю музыку.

– Тогда мне тем более не стоит продолжать, – заявил Дэнис. – Я ведь произвожу всего лишь шум.

Воцарилась тишина. Мистер Барбекью-Смит стоял спиной к камину, мысленно согревая себя воспоминаниями об очагах, у которых грелся прошлой зимой. Он не мог скрыть внутреннего удовлетворения и продолжал улыбаться своим мыслям. Наконец он повернулся к Дэнису.

– Так вы пишете, – спросил он, – не так ли?

– Ну... да, немного, знаете ли.

– И как вы думаете, сколько слов вы можете написать за час?

– Я никогда, признаться, не считал.

– О, вы должны сосчитать, обязательно должны. Это чрезвычайно важно.

Дэнис напряг память.

– Когда я в хорошей форме, – припоминал он, – думаю, могу часа за четыре написать рецензию примерно в тысячу двести слов. Но иногда на это уходит гораздо больше времени.

Мистер Барбекью-Смит кивнул.

– Значит, в лучшем случае триста слов в час. – Он прошел в середину комнаты, развернулся и снова оказался лицом к Дэнису. – А теперь угадайте, сколько слов написал я за сегодняшний вечер между пятью и половиной восьмого.

– Понятия не имею.

– Конечно, но вы можете попробовать угадать. Между пятью и половиной восьмого, то есть за два с половиной часа.

– Тысячу двести, – предположил Дэнис.

– Нет, нет, нет. – Широкое лицо мистера Барбекью-Смита лучилось весельем. – Попробуйте еще раз.

– Полторы тысячи.

– Нет.

– Сдаюсь, – сказал Дэнис. Он почувствовал, что техника творчества мистера Барбекью-Смита не вызывает в нем большого интереса.

– Ну, так я вам скажу. Три тысячи восемьсот.

У Дэниса от удивления округлились глаза.

– Должно быть, вы очень много успеваете за день, – пробормотал он.

Тон мистера Барбекью-Смита вдруг стал чрезвычайно конфиденциальным. Он подтянул табурет к креслу, в котором расположился поэт, сел на него и заговорил тихо и торопливо, коснувшись рукава Дэниса:

– Послушайте меня. Вы хотите зарабатывать на жизнь писательством; вы молоды и неопытны. Позвольте дать вам скромный, но разумный совет.

Интересно, что собирается сделать этот тип? Дать ему рекомендацию для редактора «Джон о'Лондонс Уикли» или подсказать, кому можно продать очерк на незамысловатую тему за семь гиней? Мистер Барбекью-Смит похлопал его по руке и продолжил, дыша молодому человеку прямо в ухо:

– Секрет писательства, секрет писательства – во вдохновении.

Дэнис недоуменно посмотрел на него.

– Во вдохновении... – повторил мистер Барбекью-Смит.

– Вы имеете в виду интуитивный поэтический момент восприятия?

Мистер Барбекью-Смит кивнул.

– О, тогда я с вами абсолютно согласен, – улыбнулся Дэнис. – Но что делать, если вдохновение не снисходит?

– Именно этого вопроса я и ожидал, – обрадовался мистер Барбекью-Смит. – Вы спрашиваете меня, что делать, если вдохновения нет. Отвечаю: оно у вас есть; вдохновение есть у каждого. Задача состоит лишь в том, чтобы заставить его работать.

Часы пробили восемь. Никаких признаков появления других гостей не наблюдалось; в Кроме все всегда и повсюду опаздывали. Мистер Барбекью-Смит заговорил вновь:

– Это мой секрет. Дарю бескорыстно. (Дэнис, как подобает, изобразил на лице благодарность и что-то неразборчиво пробормотал.) Я помогу вам найти вдохновение, потому что не хочу видеть, как такой славный и серьезный молодой человек, как вы, скрипя мозгами, истощает свою жизненную энергию и попусту тратит лучшие годы на тяжкий интеллектуальный труд, когда его можно избежать с помощью вдохновения. Я сам работал именно так и знаю, каково это. До тридцати восьми лет я был таким же писателем, как вы, – писателем без вдохновения. Все, что выходило из-под моего пера, я выжимал из себя посредством тяжелого труда. Так вот, в те времена я никогда не мог выдать больше шестисот пятидесяти слов в час, и что еще хуже, зачастую мне не удавалось продать написанное. – Он вздохнул. – Нас, художников, – заметил он как бы в скобках, – нас, интеллектуалов, не особенно ценят здесь, в Англии.

Дэнис подумал: можно ли как-нибудь, учтиво, разумеется, со всей вежливостью, отделать себя от этого «нас» мистера Барбекью-Смита? Способа он не нашел, к тому же оказалось слишком поздно, поскольку мистер Барбекью-Смит уже развивал дальше ход своих мыслей:

– В тридцать восемь я был бедным, вынужденным тяжело пробиваться, изнуренным, работавшим на износ, никому не известным журналистом. Теперь же, в мои пятьдесят... – Он сделал паузу, сопроводив ее жестом: чуть развел в стороны свои пухлые руки, растопырив пальцы, словно что-то демонстрируя. Писатель демонстрировал себя. Дэнис вспомнил рекламу молока фирмы «Нестле»: два котика на заборе, под луной; один – черный и тощий, другой – белый, откормленный, с блестящей шерстью. До вдохновения – и после.

– Вдохновение изменило все, – торжественно произнес мистер Барбекью-Смит. – Оно пришло неожиданно, словно ласковая роса упала с неба. – Он поднял руку и уронил ее обратно на колено, демонстрируя сошествие росы на землю. – Это произошло однажды вечером. Я писал свою первую небольшую книгу о правилах поведения – «Скромный героизм». Вероятно, вы ее читали; для многих тысяч людей она послужила поддержкой и утешением – по крайней мере, я надеюсь, что так. В середине второй главы дело застопорилось. Сказалась усталость от чрезмерных трудов, за последний час работы я написал тогда всего сотню слов, а дальше – ни с места. Я сидел, кусая кончик ручки и уставившись на электрическую лампу, висевшую низко над столом, чуть впереди от меня. – Он точно указал положение лампы. – Вы когда-нибудь смотрели долго и пристально на яркий свет? – спросил он, повернувшись к Дэнису. Дэнис ответил, что, пожалуй, нет. – Таким способом можно себя загипнотизировать, – объяснил мистер Барбекью-Смит.

Гонг из холла загудел устрашающим крещендо. Тем не менее никто не появился. Дэнис был жутко голоден.

– Именно это со мной и случилось, – продолжал мистер Барбекью-Смит. – Я впал в состояние гипноза. Отрешился от собственного сознания вот так. – Он шелкнул пальцами. – А когда снова пришел в себя, обнаружил, что после полуночи написал четыре тысячи слов. Четы-ыре ты-ысячи! – повторил он, растягивая ударный гласный. – На меня снизошло вдохновение.

– Какое невероятное происшествие, – сказал Дэнис.

– Поначалу я даже испугался. Мне это показалось противоестественным. Я чувствовал что-то не совсем правильное – даже, готов был признать, не совсем честное – в том, чтобы создавать литературное произведение бессознательно. Кроме того, я боялся, что написанное окажется чушью.

– И оно оказалось? – поинтересовался Дэнис.

– Разумеется, нет, – ответил мистер Барбекью-Смит с легким раздражением. – Разумеется, нет. Оно было восхитительно. Разве что несколько орфографических ошибок и описок, которые неизбежны при автоматическом письме. Но стиль, глубина мысли – все существенное было превосходно. После того случая вдохновение стало снисходить на меня регулярно. Таким образом я написал «Скромный героизм». Книга имела огромный успех, как и все, что я сочиняю с тех пор. – Подавшись вперед, он легонько ткнул в Дэниса пальцем и заключил: – Таков мой секрет; вот так же – без натуги, бегло и хорошо – можете писать и вы. Попробуйте.

– Но как? – спросил Дэнис, стараясь не показать, сколь глубоко он уязвлен этим последним «хорошо».

– Нужно культивировать в себе вдохновение, вступая в контакт с собственным подсознанием. Вы читали когда-нибудь мою книгу «Канал к бесконечности»?

Дэнис сделал вид, что вынужден признаться: именно это, одно из немногих, а может, и единственное из всех сочинений мистера Барбекью-Смита, он не читал.

– Ничего, ничего, – успокоил мистер Барбекью-Смит. – Это всего лишь маленькая книжечка о связи между подсознанием и бесконечностью. Установите контакт с подсознанием – и вы окажетесь в контакте с космосом. Фактически уже обретете вдохновение. Вы меня понимаете?

– Прекрасно, прекрасно понимаю, – заверил Дэнис. – Но вы не находите, что космос порой посылает нам весьма неадекватные сигналы?

– Я этого не допускаю, – отрезал мистер Барбекью-Смит. – Я все пропускаю по разным каналам к разным турбинам, генерирующим энергию моего сознания.

– Наподобие尼亚гары? – предположил Дэнис. Иные высказывания мистера Барбекью-Смита напоминали цитаты – без сомнения, цитаты из его собственных сочинений.

– Именно. Наподобие尼亚гары. И вот как это делается. – Он снова наклонился вперед и продолжил развивать мысль, постукивая указательным пальцем в такт своей речи. – Чтобы привести себя в состояние транса, я сосредоточиваюсь на предмете, который желаю сделать объектом своего вдохновения. Предположим, я пишу о скромном героизме; за десять минут до того, как впасть в транс, я не думаю ни о чем другом, кроме как о сиротах, растящих своих братьев и сестер, о той унылой повседневной работе, которую они выполняют терпеливо и хорошо, и фокусирую мысли на таких великих философских истинах, как очищение и возвышение души через страдание и алхимическое превращение свинца пороков в золото добра (Дэнис снова мысленно расставил цепочку кавычек), в результате чего в какой-то момент отключаюсь. А два-три часа спустя, очнувшись, обнаруживаю, что вдохновение сделало свое дело. Тысячи слов – умиротворяющих, возвышающих душу слов – лежат передо мной. Я аккуратно переписываю их на своей машинке – и они готовы в печать.

– Звучит на удивление просто, – заметил Дэнис.

– Это так и есть. Все великое, прекрасное и одухотворенное в жизни действительно на удивление просто. (Еще одни кавычки.) Если мне нужно сочинить один из моих афоризмов, – продолжал мистер Барбекью-Смит, – я в преддверии транса листаю сборник цитат или «Шекспировский календарь» – что попадется под руку. Это, так сказать, дает ключ, гарантирует, что космос будет вливаться в мое подсознание не сплошным потоком, а каплями афоризмов. Схватываете идею?

Дэнис кивнул. Мистер Барбекью-Смит сунул руку в карман и достал блокнот.

– Несколько таких «капель» упало на меня сегодня в поезде, – сказал он, листая страницы, – и я записал их, когда вышел из транса, сидя в угловом кресле купе. Я вообще нахожу поездку весьма продуктивной средой для работы. Ага, вот они. – Он прочистил горло и прочел: – «Горная дорога может быть крутой и трудной, но воздух на вершине чист, и именно с вершины далеко видно». «То, что действительно важно, свершается в сердце».

Забавно, размышлял Дэнис, как бесконечность иногда повторяется.

– «Видеть – значит верить. Да. Но верить – тоже значит видеть. Если я верую в Бога, я вижу Бога даже в том, что представляется злом».

Мистер Барбекью-Смит оторвался от блокнота.

– Этот последний афоризм особенно тонок и изящен, не правда ли? Без вдохновения он никогда не пришел бы мне в голову, – похвастался он и еще раз прочел свою максиму, медленнее и более торжественно. – Это послание прямо из бесконечности, – задумчиво прокомментировал он и перешел к следующему афоризму: – «Пламя свечи дает свет, но оно же и обжигает». – На лице мистера Барбекью-Смита обозначились морщинки недоумения. – Я сам не до конца понимаю, что это значит. Слишком афористично. Конечно, это можно отнести к высшему образованию, которое просвещает, однако же и провоцирует низшие классы на недовольство и революции. Да, полагаю, так и есть. Но как афористично, как афористично!

Он задумчиво потер подбородок. Снова раздался гонг, на сей раз он звучал нетерпеливо и, казалось, умоляюще: обед стынет. Это вывело мистера Барбекью-Смита из задумчивости. Он повернулся к Дэнису.

– Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я рекомендую вам культивировать в себе вдохновение. Пусть ваше подсознание работает за вас; впустите в себя Ниагару бесконечности.

На лестнице слышались шаги. Мистер Барбекью-Смит встал, легко коснулся плеча Дэниса и сказал:

– Больше – ни слова. В другой раз. И помните: я целиком полагаюсь на вашу скромность в этом деле. Есть глубоко интимные, сокровенные вещи, которые человек не хочет выносить на всеобщее обозрение.

– Разумеется, – заверил Дэнис. – Я прекрасно это понимаю.

Глава 7

Все кровати в Кроне являлись предметами старинной, переходящей по наследству из поколения в поколение мебели – огромные, как четырехмачтовые шхуны с убранными парусами сияющего чистотой цветного постельного белья. Были кровати резные и инкрустированные, окрашенные и позолоченные, ореховые и дубовые, а также сделанные из экзотических пород дерева – словом, самые разные кровати всех эпох и моделей от времен сэра Фердинандо, построившего этот дом, до времен его тезки, жившего в конце восемнадцатого века, последнего представителя рода, но все – грандиозные и величественные.

Самой чудесной была та, на которой спала Анна. Сэр Джулиус, сын сэра Фердинандо, заказал ее в Венеции для своей жены, которая ждала тогда первого ребенка. В ней воплощены все причуды венецианского искусства начала семнадцатого века. Остов кровати напоминал огромный квадратный саркофаг. По всей деревянной поверхности была выполнена глубокая резьба в виде розовых кустов, в которых резвились амуры. Рельефы на черной деревянной основе отшлифовали и покрыли золотом. Золоченные розовые плети спиралями вились по четырем столбцам в форме колонн, на вершинах которых сидело по херувиму; столбцы поддерживали деревянный балдахин, украшенный такими же резными цветами.

Анна читала, лежа в постели. На маленьком столике рядом с кроватью горели две свечи; в их насыщенном свете ее лицо, обнаженная рука и плечо приобретали теплый оттенок покрытия легким пушком персика. Тут и там на балдахине над ее головой между глубокими тенями мерцали золотом лепестки роз, и мягкий свет, падавший на спинку кровати, беспокойно метался между замысловато вырезанными розами, ласково задерживаясь на пухлых щечках, животиках с ямочками пупков и тугих, несуразно маленьких ягодицах рассеявшихся на ветвях херувимов.

В дверь деликатно постучали. Анна подняла голову от книги.

– Входите, входите.

Круглое детское личико под глянцевым колоколом золотистых волос просунулось в щель. Розовато-лиловая пижама делала гостью еще больше похожей на ребенка.

Это была Мэри.

– Я решила заглянуть на минутку, пожелать вам спокойной ночи, – сказала она, садясь на край кровати.

Анна закрыла книгу.

– Очень мило с вашей стороны.

– Что вы читаете? – Мэри взглянула на книгу. – Второсортное чтиво, не правда ли?

Тон, которым Мэри произнесла слово «второсортное», подразумевал крайнюю степень презрения. В Лондоне она привыкла общаться только с людьми первого сорта, которые признавали лишь первосортные вещи, притом она знала, что таких вещей на свете очень, очень мало, а те, что есть, преимущественно французские.

– А мне, уж простите, нравится, – ответила Анна.

Больше сказать было нечего. Последовало весьма неловкое молчание. Мэри нервно терла нижнюю пуговицу на пижамной кофте. Откинувшись на высоко взбитые подушки, Анна ждала: что же дальше?

– Я так страшно боюсь последствий подавления чувств, – проговорила наконец Мэри и вдруг, на удивление, разразилась бурной речью. Она произносила все слова с придыханием в конце, ей не хватало воздуха, чтобы закончить фразу.

– И какие же чувства вас так гнетут?

– Я не сказала, что какие-то чувства меня гнетут, я сказала, что мне приходится подавлять чувства.

– Ах, подавлять! Понимаю, – кивнула Анна. – И какие же это чувства?

Мэри вынуждена была объяснить.

– Естественные сексуальные инстинкты... – начала она наставительно, но Анна ее перебила:

– Да, да. Отлично. Понимаю. Подавление влечения, старые девы и все такое. Но к вам-то какое отношение имеют эти чувства?

– Прямое, – ответила Мэри. – Я их боюсь. Это очень опасно – подавлять свои инстинкты. Я начинаю замечать у себя симптомы, похожие на те, о которых пишут в книгах. Мне постоянно снится, что я падаю в колодец, а иногда даже – что я карабкаюсь по лестнице. Это в высшей степени тревожно. И эти симптомы очевидны.

– Неужели?

– Так недолго и нимфоманкой стать, если не принять меры. Вы представить себе не можете, какие серьезные последствия влечет за собой подавление чувств, если вовремя это не прекратить.

– Думаю, вы сгущаете краски, – выразила сомнение Анна. – Но я не вижу, чем могла бы вам помочь.

– Мне просто хотелось поговорить с вами об этом.

– Ну, разумеется; охотно и с радостью, дорогая.

Мэри откашлялась и издала глубокий вздох.

– Полагаю, – нравоучительно начала она, – полагаю, можно считать само собой разумеющимся, что у здравомыслящей молодой женщины двадцати трех лет от роду, выросшей в цивилизованном обществе в двадцатом веке, предрассудков нет.

– Должна признаться, что у меня кое-какие есть.

– Но они не имеют отношения к подавлению чувств.

– Нет, таких не много, это правда.

– Или, точнее говоря, к тому, как избавиться от необходимости подавлять чувства.

– Именно.

– Тогда примем это как базовый постулат, – сказала Мэри. Каждой черточкой своего юного круглого лица она демонстрировала исключительную серьезность, ее же излучали большие синие глаза. – Теперь переходим к желательности обретения опыта. Надеюсь, мы согласны в том, что наличие знания желательно, а неосведомленность – нет.

Покорная, как один из почтительных учеников Сократа, от которых тот мог добиться любого нужного ему ответа, Анна согласилась и с этой предпосылкой.

– Равным образом мы, надеюсь, едины во мнении, что замужество – это то, что оно есть.

– То, что оно есть, – механически повторила Анна.

– Отлично! – воскликнула Мэри. – И подавление чувств – это тоже то, что оно есть...

– Конечно.

– Из всего этого возможен единственный вывод.

– Но это я знала еще до того, как вы начали, – заметила Анна.

– Да, но теперь этот вывод доказан, – парировала Мэри. – Нужно во всем следовать логике. Теперь вопрос состоит в том...

– Да какие же тут могут быть вопросы? Вы ведь обосновали свой единственно возможный вывод логически, это больше, чем могла бы сделать я. Остается лишь донести информацию до того, кто вам мил – кто вам мил по-настоящему, в кого вы влюблены, если позволите выразиться столь откровенно.

– Так вот именно здесь и кроется вопрос! – вскричала Мэри. – Я ни в кого не влюблена.

– Ну, тогда я бы на вашем месте подождала, пока это случится.

– Но я не могу больше ночь за ночью видеть во сне, как я падаю в колодец. Это слишком опасно.

– Что ж, раз это так опасно, вам, конечно, надо что-то делать; вы должны кого-нибудь найти.

– Но кого? – Морщинка появилась на лбу Мэри. – Это должен быть человек интеллектуального склада, с интересами, которые я могла бы с ним разделить. В то же время он должен испытывать подобающее уважение к женщинам, быть готовым серьезно говорить о своей работе и своих идеях – и о моей работе и моих идеях. Как видите, совсем непросто найти подходящего человека.

– Что ж, – задумалась Анна, – в настоящее время в доме есть три свободных и умных мужчины. Начнем с мистера Скоугана, правда, он, наверное, слишком «антикварен». Есть еще Гомбо и Дэнис. Видимо, надо признать, что выбор сводится к этим двоим.

Мэри согласно кивнула.

– Думаю, нам бы следовало... – проговорила она и замялась в некотором смущении.

– Что, в чем дело?

– Я подумала... – Мэри вздохнула. – Действительно ли они свободны? Быть может, вы... быть может, вам...

– Очень любезно, что вы подумали обо мне, дорогая, – сказала Анна с едва заметной кошачьей улыбкой, – но что касается меня, то они оба совершенно свободны.

– Я очень рада, – с облегчением выдохнула Мэри. – И теперь перед нами встает вопрос: который из двух?

– Ну, тут я вам не советчик. Это вопрос вашего вкуса.

– Это не вопрос моего вкуса, – заявила Мэри, – это вопрос их достоинств. Мы должны взвесить и тщательно и беспристрастно оценить их достоинства.

– Взвешивать должны вы сами, – возразила Анна; в уголках ее губ и вокруг полуприкрытых глаз все еще оставался след от улыбки. – Я вам советовать не рискну – боюсь ошибиться.

– Гомбо более талантлив, – начала Мэри, – но менее благовоспитан, чем Дэнис. – Интонация, с которой она произнесла слово «благовоспитан» придала слову особый, дополнительный смысл. Она артикулировала его очень тщательно, оно сошло с ее губ с легким шипением на звуке «с». Ведь на свете так мало благовоспитанных людей, и они, как и первосортные произведения искусства, имеют преимущественно французское происхождение. – Хорошее воспитание чрезвычайно важно, вы так не думаете?

Анна протестующее подняла руку.

– Я не стану давать советов, – повторила она. – Вы сами должны принять решение.

– Семья Гомбо, – задумчиво продолжила Мэри, – ведет свой род из Марселя. Если вспомнить о принятом у романских народов отношении к женщине, – весьма опасная наследственность. С другой стороны, я иногда задаюсь вопросом, достаточно ли серьезен Дэнис, не свойственен ли ему дилетантизм. Очень трудно решить. А вы что думаете по этому поводу?

– Я этого даже слушать не хочу, – отрезала Анна. – И отказываюсь брать на себя какую бы то ни было ответственность.

Мэри вздохнула.

– Что ж, – сказала она, – наверное, мне лучше пойти лечь и поразмыслить об этом.

– Тщательно и беспристрастно, – подхватила Анна.

Уже в дверях Мэри обернулась.

– Доброй ночи, – пожелала она и подумала: интересно, почему Анна так странно улыбается? Впрочем, вероятно, ничего за этой улыбкой и не кроется, решила она. Анна часто улыбалась безо всякой видимой причины; возможно, это просто привычка. – Надеюсь, сегодня мне не приснится, что я падаю в колодец, – добавила Мэри.

– Лестницы еще хуже, – напомнила Анна.

Мэри кивнула.

– Да, лестницы куда опаснее.

Глава 8

По воскресеньям завтрак подавали на час позже, чем в будние дни, и Присцилла, обычно не появлявшаяся на людях до середины дня, сегодня удостоила его своим присутствием. В черном шелковом облачении, с рубиновым крестом и неизменным жемчужным ожерельем на шее, она сидела во главе стола. Развернутая во всю ширь воскресная газета скрывала от внешнего мира все, кроме верхушки ее прически.

– Вижу, «Суррей» победил, – произнесла она с набитым ртом. – В четырех иннингсах. Солнце в созвездии Льва – этим все объясняется!

– Чудесная игра – крикет, – горячо подхватил мистер Барбекью-Смит, не обращаясь ни к кому конкретно. – Сугубо английская.

Дженни, сидевшая рядом с ним, вдруг встрепенулась:

– Что? – переспросила она. – Что вы сказали?

– Игра исключительно для англичан, – повторил Барбекью-Смит.

Дженни посмотрела на него в изумлении.

– Для англичан? Разумеется, я англичанка.

Он начал было объяснять, но тут миссис Уимбуш опустила воскресную газету и явила присутствующим квадратное, густо присыпанное лиловато-розовой пудрой лицо в обрамлении оранжевого великолепия.

– Они запускают новый цикл статей о последующем мире, – сказала она, обращаясь к мистеру Барбекью-Смиту. – Сегодняшняя названа «Край непреходящего лета и геенна»

– «Край непреходящего лета», – эхом отозвался мистер Барбекью-Смит, прикрыв глаза. – «Край непреходящего лета». Прелестное название. Прелестное, прелестное.

Мэри позаботилась о том, чтобы оказаться за столом рядом с Дэнисом. После глубоких размышлений, которым предавалась всю ночь, она остановила выбор на нем. Возможно, Дэнис и не так талантлив, как Гомбо, возможно, ему чуточку недостает серьезности, зато он кажется более надежным.

– Много ли стихов вы пишете здесь, в деревне? – спросила она с невероятной серьезностью.

– Вообще не пишу, – коротко ответил Дэнис. – Я не привез сюда свою пишущую машинку.

– Вы хотите сказать, что не можете писать без машинки?

Дэнис покачал головой. Он ненавидел разговаривать во время завтрака, а кроме того, хотел послушать, что говорит мистер Скоуган на другом конце стола.

– ... Относительно того, как надо поступить с церковью, мой проект восхитительно прост, – излагал мистер Скоуган. – В настоящее время англиканские священнослужители только воротнички носят задом наперед. Я бы обязал их не только воротнички, но и всю одежду – сутану, жилет, брюки, обувь – носить так, чтобы каждый из них являл миру гладкий фасад, целостность которого не нарушают ни пуговицы, ни шнуровки, ни иные застежки. Введение подобного облачения служило бы предупреждением всякому намеревающемуся приобщиться к клиру. В то же самое время это, как совершенно справедливо высказался архиепископ Лод, придало бы безмерно больше «красоты святости» тем немногим нестигаемым, коих ничем не запугать.

– Похоже, в преисподней, – возмутилась Присцилла, снова обратившись к своей воскресной газете, – дети развлекаются тем, что сдирают кожу с живых ягнят!

– Ах, дорогая мадам, но это же просто символ! – воскликнул мистер Барбекью-Смит. – Материальный символ высокодуховной истины. Ягнята символизируют...

– То же с военной формой, – продолжал между тем мистер Скоуган. – Когда изобилующие пурпуром претенциозные мундиры были заменены формой цвета хаки, кое-кто с ужасом приготовился к грядущей войне. Но постепенно, увидев, сколь элегантно новое обмундирование, как изящно оно облегает талию, как соблазнительно объемные боковые карманы подчеркивают линию бедер, и, оценив потенциальные удобства бриджей и высоких ботинок, все взбодрились. Лишите обмундирование этой военной элегантности, оденьте всех в одинаковую мешковатую форму из грубой ткани – и вскоре вы обнаружите, что...

– Кто-нибудь сегодня собирается со мной на утреннюю службу? – спросил Генри Уимбуш. Вопрос остался без ответа, и он попробовал закинуть удочку с приманкой: – Как вы знаете, из Библии нынче читаю я. Ну, и мистер Бодиэм, конечно, будет. Иногда его проповеди заслуживают того, чтобы их послушать.

– Спасибо, спасибо, – сказал мистер Барбекью-Смит, – лично я предпочитаю молиться в беспредельном храме Природы. Как там у Шекспира? «... и книги в ручейках, и молитвы в громадных камнях...». – Он сделал широкий жест в сторону окна, при этом смутно, но от того не менее настойчиво ощущая, что цитирует не совсем точно. Какое-то слово было не на месте. Молитвы? Книги? Камни?

Глава 9

Мистер Бодиэм сидел у себя в кабинете в доме приходского священника, построенном еще в девятнадцатом веке. Готические окна, узкие и остроконечные, свет пропускали скупое; несмотря на то, что стоял солнечный июльский день, в комнате было сумрачно. На стенах рядами висели покрытые лаком коричневые книжные полки, уставленные теми толстыми тяжеленными фолиантами теологических трудов, которые букинисты обычно покупают и продают на вес. Каминная доска и стенная панель над ней – высокое сооружение из длинных веретенообразных столбиков и маленьких полочек между ними – также были из коричневого покрытого лаком дерева. Такими же оказались письменный стол, стулья и дверь. Темный красновато-коричневый ковер с узорами устилал пол. В этой комнате все было коричневым, даже запах казался коричневатым.

Посреди этого коричневого уныния за письменным столом восседал мистер Бодиэм – ни дать ни взять Человек в железной маске. Лицо оттенка серого металла, железные скулы и узкий железный лоб; железные морщины, твердые, навсегда застывшие, перпендикулярно пересекали щеки; нос напоминал железный клюв какой-то тощей, хрупкой, но хищной птицы. Глаза в обрамленных железом глазницах были карими, а кожа вокруг них – темной, словно опаленной. Череп покрывали густые жесткие волосы; когда-то черные, но теперь седые. Уши – очень маленькие и изящные. Нижняя часть щек, подбородок и верхняя губа там, где они были выбриты, – темные, как железо. Скрипучий голос, даже когда мистер Бодиэм просто говорил, а уж особенно когда повышал его, вещая с амвона, скрежетал, как железные петли редко отворяемой двери.

Приближалась половина первого. Мистер Бодиэм только что вернулся из церкви, осипший и усталый после проповеди. Проповедовал он яростно, со страстью – железный человек, секущий цепом души своей паствы. Но души верующих в Кром были каучуковыми, и цеп рикошетом отскакивал от них. В Кроме привыкли к мистеру Бодиэму. Его цеп обрушивался на застывший каучук, но тот чаще всего оставался спящим.

В то утро темой его проповеди, как это нередко случалось и прежде, была природа Бога. Он пытался заставить их осознать, что есть Бог и как страшно оказаться под его карающей десницей. Но они воспринимали Бога как нечто мягкое и милосердное. Они не желали видеть факты, более того, они не желали верить Библии. Когда «Титаник» шел ко дну, его пассажиры пели «Ближе, Господь, к Тебе». Сознали ли они, к чему мечтают приблизиться? К белому огню праведности, к пламени гнева...

Когда проповедовал Савонарола, люди рыдали и стонали в голос. Вежливой тишины, с которой мистеру Бодиэму внимал Кром, не нарушало ничто – разве что изредка легкое покашливание или тяжелый вздох. На первой скамье сидел Генри Уимбуш, спокойный, благовоспитанный, красиво одетый. Случалось, мистеру Бодиэму хотелось спрыгнуть с кафедры и хорошенько встряхнуть его, чтобы он очнулся, а порой он бы с удовольствием избил и даже убил всю свою паству.

Сейчас он удрученно сидел за своим столом. Земля за готическими окнами была теплой и восхитительно мирной. Все было так, как испокон веков. И все же, все же... Вот уже четыре года как он выступил с той памятной проповедью на тему седьмого стиха двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея: «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам». Почти четыре года. Ту проповедь он напечатал; было чрезвычайно, жизненно важно, чтобы весь мир узнал то, что он тогда сказал. Экземпляр брошюры лежал у него на столе – восемь маленьких серых страниц, отпечатанных на машинке, литеры которой, как зубы старого пса, обкрошились от бесконечного шамканья по валику. Мистер Бодиэм открыл книжечку и стал перечитывать ее вот уж в который раз.

«Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам»¹⁹.

Девятнадцать веков истекло с тех пор, как Господь наш произнес эти слова, и ни один из них не обошелся без войн, эпидемий, голода и землетрясений. Могушественные империи рушились и обращались в прах, болезни уполовинивали население планеты, случались масштабные природные бедствия – наводнения, пожары, ураганы, – в которых гибли тысячи людей. Это повторялось снова и снова на протяжении всех девятнадцати веков, но ничто не привело Христа обратно на землю. То были «знамения времени» в той мере, в какой они являлись свидетельствами Божьего гнева на неисправимую греховность человечества, но не предвестия Второго пришествия.

И если ревностные христиане сочли нынешнюю войну знаком грядущего возвращения Господа, то не только потому, что вовлеченными в нее оказались миллионы людей по всему свету, не только потому, что голод схватил за горло все страны Европы, не только потому, что страшные болезни, от сифилиса до сыпного тифа, поразили воюющие народы. Нет, не по этим причинам мы рассматриваем нынешнюю войну как истинное Знамение времени, но потому, что ее первопричина и весь ее ход отмечены ясными, не подлежащими сомнению чертами, предсказанными Священным Писанием в пророчестве о втором пришествии Господа.

Позвольте мне перечислить особенности нынешней войны, которые с наибольшей определенностью указывают, что она и есть Знак, предвещающий близость Второго пришествия. Господь сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»²⁰. Хотя было бы самонадеянно с нашей стороны судить, когда Господь сочтет масштаб обращения в христианство достаточным, мы можем, по крайней мере, искренне надеяться, что сто лет неустанных миссионерских трудов хоть немного приблизили исполнение этого условия. Да, приходится признать, что большая часть жителей Земли остается глуха к проповеди истинной религии, но это не умаляет того факта, что Евангелие продолжает проповедоваться «во свидетельство» всем неверующим – от папистов до зулусов. Ответственность за то, что число неверующих до сих пор преобладает, лежит не на проповедниках, а на тех, кому они проповедуют.

С другой стороны, общепризнано, что пересыхание вод великой реки Евфрат, упомянутое в шестнадцатой главе Откровения, есть аллегория угасания и полного упадка турецкого могущества и знак скорого приближения конца света. Взятие Иерусалима и успешное наступление в Месопотамии – это крупные шаги вперед на пути к сокрушению Османской империи, хотя следует признать, что галлиполийский эпизод доказал: рога пока не обломаны, и турки все еще обладают определенной силой. В исторической ретроспективе обмеление османской мощи длится уже целое столетие; в последние два года процесс заметно ускорился, и не может быть сомнений в том, что не за горами ее полное усыхание.

Сразу же вслед за словами о высыхании Евфрата идет пророчество о грядущем Армагеддоне, этой вселенской битве, с которой тесно ассоциируется Второе пришествие. Начавшись, вселенская война может закончиться только с возвращением Христа, и приход Его будет внезапным и неожиданным – как появляется тать в ночи.

Давайте обратимся к фактам. В истории, точно так же, как в Евангелии от Иоанна, вселенской войне непосредственно предшествует высыхание вод Евфрата, то есть упадок турецкого могущества. Одного этого факта достаточно, чтобы сравнить настоящий военный конфликт с Армагеддоном и таким образом удостовериться в скором наступлении Второго пришествия. Однако можно привести и еще более убедительные и неопровержимые доказательства.

¹⁹ Матф. 24:7.

²⁰ Матф. 21:14.

Армагеддон вызывают три нечистых духа в жабьем облике, которые выползают из уст Дракона, Зверя и Лжепророка. Если мы сумеем в жизни распознать эти три силы зла, мы прольем на данный вопрос значительно больше света.

В истории все они – Дракон, Зверь и Лжепророк – могут быть опознаны. Сатана, который способен действовать только через человека, использовал эти три силы в долгой войне против Христа, которая велась все девятнадцать последних столетий, изобиловавших религиозными распрями. Дракон, как достаточно убедительно доказано, – это языческий Рим, а дух, выходящий из уст его, – это дух неверия. Зверь, иногда принимающий женское обличие, это, несомненно, папская власть, а дух, им изрыгаемый, – это папизм. Есть только одна сила, которая отвечает описанию Лжепророка, этого волка в овечьей шкуре, слуги дьявола под личиной агнца, и эта сила называется иезуитами. Дух, исходящий изо рта Лжепророка, – это дух ложной морали.

Итак, три духа зла – это неверие, папизм и лжемораль. Являются ли эти три силы истинной причиной нынешнего конфликта? Ответ очевиден.

Дух неверия представляет собой самую суть немецкого критицизма²¹. «Критицизм высший»²², как его иронически называют, отрицает возможность чуда, предсказания и истинного наития и пытается трактовать Библию с точки зрения естественного научного развития. Медленно, но верно на протяжении последних восьмидесяти лет дух неверия лишил немцев их Библии и их веры, превратив Германию в страну безбожников. «Высший критицизм» сделал нынешнюю войну такой, какая она есть, ибо ни для одного христианского народа было бы совершенно немыслимо вести войну методами, используемыми Германией.

Теперь мы переходим к духу папизма, который повинен в развязывании войны ничуть не меньше, чем неверие, хотя, возможно, это и не так очевидно с первого взгляда. Со времен франко-прусской войны папская власть во Франции неотвратимо слабела, между тем как в Германии она неотвратимо усиливалась. Сегодня Франция – государство антипапистское, в то время как в Германии образовалось могущественное римско-католическое меньшинство. Два контролируемых папской властью государства, Германия и Австрия, воюют с шестью антипапистскими странами – Англией, Францией, Италией, Россией, Сербией и Португалией. Бельгия, разумеется, абсолютно папское государство, и можно почти не сомневаться, что присутствие на стороне союзников такого в сущности враждебного элемента причинило большой вред нашему правому делу и явилось источником наших относительных поражений. Таким образом, то, что дух папизма стоит за этой войной, достаточно очевидно по тому, как сгруппированы силы противника, и мятеж в римско-католических областях Ирландии лишь подтверждает вывод, и без того ясный любому непредвзятому уму.

Дух ложной морали сыграл в этой войне такую же большую роль, как и два остальных злых духа. Инцидент с «клочком бумаги»²³ – последний и самый очевидный пример немецкой приверженности этой антихристианской, по сути своей, или иезуитской морали. Конечная цель Германии – мировое господство, и для достижения этой цели все средства оправданы. Это и есть основополагающий принцип иезуитства в применении к международной политике.

Итак, идентификация завершена. Как и было предсказано в Откровении: когда власть Османской империи подошла к концу, три злых духа выступили на авансцену и объединились, чтобы развязать вселенскую бойню. «Се иду, как тать» – предупреждение, сделанное для живу-

²¹ Имеется в виду система философии Канта, цель которой – определить пределы, ограничивающие человеческое познание.

²² Метод анализа Писания, который занимается датированием и выяснением авторства книг Библии через изучение основополагающих источников, использованных при ее написании.

²³ Ein Fetzen Papier (нем.) – вошедшие в историю слова немецкого рейхсканцлера Теобальда Бетмапа-Хольвега (1909–1917), который 4 августа 1914 г. в беседе с английским послом Эдуардом Гошеном так пренебрежительно назвал подписанный международный договор, гарантировавший нейтралитет Бельгии.

щих сегодня: для вас, для меня, для всего мира. Нынешняя война неотвратимо приведет к Армагеддону, и конец ему положит лишь возвращение самого Господа на землю.

А что же произойдет, когда он вернется? По словам святого Иоанна, те, кто во Христе, званы будут на Вечерю Агнца. Те, о ком известно, что шли они против Него, – на Вечерю Бога Всемогущего, на безжалостный пир, где угощаться будут не они, но ими. Ибо сказано святым Иоанном: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих»²⁴. Все враги Христа сокрушены будут мечом Сидящего на коне, «и все птицы напитаются их трупами». Такова будет Вечеря Бога Всемогущего.

Это может стать скоро или, по человеческим меркам времени, нескоро, но рано или поздно это случится неминуемо: Господь сойдет на землю и избавит мир от нынешних бед. И тогда горе тем, кто будет зван не на Вечерю Агнца, а на Вечерю Бога Всемогущего. Лишь когда окажется уже поздно, осознают они, что Господь – это не только Бог прощения, но и Бог гнева. Бог, наставший медведем на тех, кто насмехался над Елисеем, чтобы пожрать их, Бог, сразивший насмерть египтян, упорствовавших в грехах своих, без сомнения, покарает смертью и их, если они не поспешат раскаяться. Впрочем, вероятно, уже слишком поздно. Кто знает, быть может, завтра или даже через минуту Христос, явившись как тать, настигнет нас и застанет врасплох. Совсем скоро, быть может, кто знает? И ангел, стоящий на солнце, начнет скликать воронов и прочих стервятников, затаившихся в скальных ущельях, на пир разлагающейся плоти миллионов неправедных, сраженных гневом Божиим. А посему готовьтесь, ибо пришествие Господа не за горами, чтобы могли вы ждать Его с надеждой на спасение, а не со страхом и трепетом».

Мистер Бодиэм закрыл брошюрку и откинулся на спинку кресла. Доводы его были здравы и абсолютно неоспоримы; и тем не менее... Четыре года минуло с тех пор, как он прочел эту проповедь, четыре года, и в Англии настал мир, и солнце сияло, а жители Крома были так же греховны и безразличны, как всегда, даже больше, чем всегда, если это возможно. Если бы только он сумел понять, если бы небеса послали ему хоть какой-то знак! Но мольба его оставалась безответной. Сидя в своем коричневом лакированном кресле у готического окна, он был готов кричать в голос. Он впивался руками в подлокотники, сильнее, сильнее, словно чтобы вот так же взять в руки себя самого. Костяшки пальцев побелели; он закусил губу. Несколько секунд спустя напряжение немного спало, и он стал корить себя за роптание и недостаток терпения.

Четыре года, размышлял мистер Бодиэм, что такое четыре года, в конце концов? Конечно же, требуется долгое время, чтобы Армагеддон перебродил и созрел. Тысяча девятьсот четырнадцатый год был лишь предварительной схваткой. А что касается окончания войны – так это лишь иллюзия. Война продолжается, дотлевая в Силезии, Ирландии, Анатолии; волнения в Египте и Индии, вероятно, расчищают путь для широкого распространения кровопролития среди нехристианских народов. В бойкоте Японии Китаем и соперничестве между этой страной и Америкой в Тихом океане, вероятно, зреет большая война на Востоке. Перспектива, пытался уверить себя мистер Бодиэм, обнадеживающая; настоящий, истинный Армагеддон может вот-вот начаться, а после... как тать в ночи... Но, несмотря на всю убедительность своих рассуждений, он не испытывал удовлетворения и горевал. Четыре года назад он был так уверен; Божий промысел казался таким ясным. А теперь? Теперь у него были все основания злиться. И к тому же теперь он страдал.

²⁴ Апокалипсис 19:7.

Внезапно и тихо, словно призрак, появилась и бесшумно проскользнула в комнату миссис Бодиэм. Ее лицо над черным платьем было матово-бледным, почти белым, глаза бесцветны, как вода в стакане, и такими же бесцветными казались ее соломенные волосы. В руке она держала большой конверт.

– Это пришло тебе по почте, – тихо сказала она.

Конверт был не запечатан, но мистер Бодиэм машинально разорвал его. Внутри лежал буклет, куда более пухлый и изящный, чем его брошюра. «Дом Шини. Церковные облачения. Бирмингем». Он открыл буклет. Каталог был сделан со вкусом и напечатан, как подобает церковному изданию, старинным шрифтом с замысловатыми готическими буквицами. Красные линии полей, каждая страница по углам обрамлена узором на манер оксфордских картинных багетов, вместо точек – крохотные красные кресты. Мистер Бодиэм пролистал буклет.

Сутаны из лучшей черной шерсти мерино. Готовые. Всех размеров. Рясы. От девяти гиней. Модное облачение работы наших закройщиков – специалистов по церковной одежде.

Полутоновые иллюстрации представляли молодых викариев. Были среди них и щеголеватые, и мускулистые, как регбисты, и аскетичного вида с истовым взглядом огромных глаз, одетые в сюртуки, рясы, стихари, вечернее церковное облачение, в черные норфолкские костюмы.

Огромный ассортимент риз.

Веревочные пояса.

Фирменные полусутаны только в нашем магазине. Подвязываются шнуром на талии.

Надетые под стихарь, неотличимы от полного облачения. Рекомендуются для ношения летом и в жарком климате.

С ужасом и отвращением мистер Бодиэм швырнул буклет в корзину для мусора. Его жест отразился в устремленных на него серовато-голубых водянистых глазах миссис Бодиэм, но она промолчала.

– Деревенские, – тихо произнесла она, – деревенские становятся хуже и хуже день ото дня.

– Что случилось на сей раз? – спросил мистер Бодиэм, вдруг почувствовав себя ужасно усталым.

– А вот послушай. – Она пододвинула к столу коричневый лакированный стул и села. Не иначе в Кrome вот-вот должны были обрести второе рождение Содом и Гоморра.

Глава 10

Дэнис не танцевал, но когда из пианолы горячей патокой духов и снопами бенгальских огней хлынула мелодия рэгтайма, все его существо пришло в движение. Словно маленькие негритята забили в барабаны и пустились отплясывать джигу в его крови. Он превратился в некое вместилище движения, в танец. Ощущение было неприятным, как ранний симптом болезни. Он сел на одну из кушеток у окна и угрюмо притворился, будто читает.

Генри Уимбуш, покуривая длинную сигару через янтарный мундштук, с безмятежным спокойствием управлял пианолой, из которой выплескивались галопирующие пассажи оглушительной танцевальной музыки. Гомбо и Анна, прижавшись друг другу, двигались так слаженно, что казались единым существом о двух головах и четырех ногах. Мистер Скоуган, с шутовской торжественностью шаркая ногами, кружил по комнате с Мэри. Дженни сидела в тени позади пианино, черкая что-то в своем большом красном блокноте. Расположившись в креслах у камина, Присцилла и мистер Барбекью-Смит обсуждали какие-то высокие материи, шум низшего порядка их, судя по всему, ничуть не отвлекал.

– Оптимизм, – вещал мистер Барбекью-Смит категоричным тоном, перекрывая мелодию «Знойных, знойных женщин», – оптимизм – это первый шаг души навстречу свету; это движение к Богу и к растворению в Нем, это высшая степень духовного единения с бесконечностью.

– Как это верно! – вздыхала Присцилла, кивая устрашающим великолепием своей куафюры.

– Пессимизм, напротив, это союз души с тьмой; это сосредоточенность на вещах низшего порядка; это рабская покорность духа голым фактам, преувеличение важности чисто физических феноменов.

В голове у Дэниса мерно стучал рефрен песни: «Страсть разжигают они во мне». Именно, черт бы их побрал! Он страстный, но недостаточно страстный мужчина, в этом вся беда. Внутри страстный, неистовый, терзаемый – да, «терзаемый» самое подходящее слово – терзаемый желанием. Но внешне безнадежно робкий – как барашек: бе-е-е, бе-е-е, бе-е-е.

Вон они, Анна и Гомбо, двигаются вместе, словно единое гибкое существо. Зверь с двумя спинами. А он сидит в углу и притворяется, будто читает, будто не хочет танцевать, будто вообще презирует танцы. Почему? А все из той же робости – бе-е-е, бе-е-е.

Ну почему он родился с таким лицом? ПОЧЕМУ? У Гомбо лицо словно из меди, как старинный медный таран, которым били в городские стены, пока те не падут. А ему, Дэнису, досталось совсем другое лицо – овечье.

Музыка смолкла. Единое гармоничное существо распалось на два. Раскрасневшаяся, чуть задыхающаяся Анна, покачиваясь, пересекла комнату и, подойдя к пианоле, положила руку на плечо Генри Уимбушу.

– А теперь вальс, пожалуйста, дядюшка Генри, – попросила она.

– Вальс, – повторил тот и развернулся к шкафчику, в котором хранились валики. Вынув из пианолы отыгравший валик, он, как покорный раб, безропотный и вымуштрованный, вставил новый. «Тарам, тарам, тарам-пам-пам...» Мелодия тягуче поплыла по комнате, словно корабль по гладкой маслянистой поверхности волны. Четырехногое существо, еще более грациозное, еще более гармоничное в своем движении, чем прежде, заскользило по паркету. Ах, зачем он родился с таким неправильным лицом?

– Что читаете?

Он вздрогнул и поднял голову. Это была Мэри.

Ей удалось вырваться из неуютных объятий мистера Скоугана, который уже нашел новую жертву в лице Дженни.

– Так что же вы читаете?

– Не знаю, – искренне признался Дэнис. Он закрыл книгу и взглянул на обложку, книга называлась «Vade mecum²⁵ скотовода».

– Думаю, вы поступаете очень разумно, что сидите и спокойно читаете, – сказала Мэри, уставившись на него. – Не понимаю, зачем люди танцуют. Это так скучно.

Дэнис ничего не ответил; она раздражала его. От кресла у камина донесся низкий голос Присциллы:

– Вот скажите мне, мистер Барбекью-Смит, вы же все знаете о науке... – Какой-то нечленораздельно-протестующий звук послышался из кресла мистера Барбекью-Смита. – Эта теория Эйнштейна. Похоже, она переворачивает с ног на голову всю вселенную. Я так беспокоюсь за свои гороскопы. Видите ли...

Мэри возобновила атаку.

– Кто из современных поэтов нравится вам больше всего? – спросила она.

Дэнис вскипел от ярости. Вот чума, почему эта девица не оставит его в покое? Он хотел слушать эту ужасную музыку, смотреть, как они танцуют – о, они делали это так грациозно, словно были созданы друг для друга! – и в одиночестве смаковать свое страдание. И тут приходит она и подвергает его этому абсурдному допросу! Прямо какой-то «Вопросник Мангольда»: назовите три болезни, поражающие пшеницу... Кто из современных поэтов нравится вам больше всего?..

– Блайт, Майльдью и Смат²⁶, – ответил он лаконично, как человек, ни секунды не сомневающийся в своем выборе.

В ту ночь Дэнис несколько часов не мог заснуть. Смутная, но болезненная печаль терзала его. Он чувствовал себя несчастным не только из-за Анны; его мучили мысли о самом себе, о будущем, о жизни в целом, о вселенной. «Ах, эти страдания юности, – то и дело повторял он, – как же они чудовищно утомительны». Но тот факт, что название собственного недуга было ему известно, ничуть не помогал излечиться от него.

Сбросив на пол одеяло и подушки, он встал и нашел облегчение в сочинительстве. Ему хотелось облечь в слова и запереть в них, как в клетке, свою безымянную печаль. Примерно через час из клякс и зачеркнутых каракулей родилось девять более-менее законченных строк.

Чего хочу, не знаю сам,
В июльский теплый этот вечер,
Прислушиваясь к голосам
Твоим, о разомлевший ветер!
Чего хочу я и к чему
Стремлюсь душою – не пойму.
По рекам времени кочуя,
Не знаю сам, чего хочу я,
Не знаю сам.

Дэнис прочел вслух то, что получилось; потом швырнул листок в корзину для бумаг и снова лег. Буквально через несколько минут он уже спал.

²⁵ Дословно «иди со мной» (лат.); карманный справочник, путеводитель.

²⁶ Названия болезней растений.

Глава 11

Мистер Барбекью-Смит отбыл. Автомобиль стремительно унес его на вокзал; о его недавнем присутствии напоминал легкий запах выхлопных газов. Во дворе его провожал внушительный отряд гостей и хозяев, которые теперь, когда машина скрылась за углом, возвращались назад – кто на террасу, кто в сад. Шли молча, никто пока не осмеливался высказаться об уехавшем госте.

– Итак? – произнесла наконец Анна, вопросительно подняв бровь и обернувшись к Дэнису. Должен же был кто-то начать.

Дэнис отклонил приглашение и переадресовал его мистеру Скоугану:

– Итак? – повторил он вслед за Анной.

Мистер Скоуган тоже не решился, а лишь эхом откликнулся:

– Итак?

Генри Уимбушу не оставалось ничего, кроме как высказать свое мнение:

– Весьма приятное дополнение к нынешним выходным, – скорбно сказал он.

Не слишком заботясь о том, куда именно идти, они шли по тисовой аллее, огибавшей террасу и круто сбегавшей вниз, к бассейну. Дом, собственную семидесятифутовую высоту которого дополняла еще и высота пристроенной террасы, возвышался над ними необозримой громадой. Непрерывные вертикали трех башен взмывали к небу, усиливая впечатление ошеломляющей высоты. На краю бассейна компания остановилась, чтобы оглянуться и обозреть дом.

– Человек, построивший это здание, знал свое дело, – сказал Дэнис. – Он был настоящим архитектором.

– Вы полагаете? – задумчиво произнес Генри Уимбуш. – Сомневаюсь. Его построил сэръ Фердинандо Лапит, поднявшийся в царствование королевы Елизаветы. Он унаследовал имение от отца, которому его пожаловали во времена гонений на монастыри; изначально Кром являлся обителью монахов, а в этом бассейне они разводили рыб. Сэру Фердинандо было мало просто приспособить старые монастырские помещения под собственные нужды; используя их в качестве каменоломен, он соорудил амбары, коровники и прочие постройки, а себе возвел величественный новый дом из кирпича – тот самый, который вы теперь видите.

Он повел рукой в сторону дома; безмолвный, внушительный, суровый, почти злоедающий Кром нависал над ними.

– Знаменательно в Кроме то, – вмешался мистер Скоуган, торопясь перехватить инициативу, – что он безусловно и даже агрессивно являет собой произведение искусства. Никакого компромисса с природой – скорее, противостояние и бунт против нее. Никакого сходства с Шелли замком из «Эпипсихидиона» о котором, если мне не изменяет память, сказано:

Не сотворен искусством человека,
Из недр земли вознесся ясным днем.
Есть нечто титаническое в нем,
Неотделим от гор, воздушен, строен,
Он точно из камней живых построен.

Нет-нет, о Кроме подобной чепухи не скажешь. То, что крестьянские лачуги должны выглядеть так, будто они вознеслись из земли, к которой привязаны их обитатели, безусловно, правильно и уместно. Но дом образованного, культурного человека с изысканным вкусом ни в коем случае не должен выглядеть так, будто он вырос из глины. Он, скорее, должен быть олицетворением величественной отрешенности от грубой жизни природы. Со времен Уильяма Мор-

риса²⁷ это является фактом, который в Англии, увы, так и не смогли осознать. Культурные и образованные люди здесь на полном серьезе всегда разыгрывали подобие крестьянской жизни. Отсюда причудливость нашей коттеджной архитектуры, искусств, ремесел и всего прочего. Отсюда в предместьях английских городов – бесконечные ряды одинаковых, нарочито затейливых подражаний жилищам усвоенного деревенского стиля. Бедность, невежество и ограниченность выбора материалов для строительства обусловили вид жилища, которое – в соответствующем антураже – безусловно, обладает своим обаянием живых камней. Мы же теперь, используя наше богатство, наши технические знания, широкое разнообразие строительных материалов, создаем миллионы стилизованных лагун в совершенно неподходящем антураже. Можно ли придумать что-либо более нелепое?

Генри Уимбуш снова подхватил нить своих прерванных рассуждений.

– Все, что вы говорите, мой дорогой Скоуган, – начал он, – разумеется, совершенно справедливо и верно. Но я очень сомневаюсь, что сэр Фердинандо разделял ваши взгляды на архитектуру, если таковые у него вообще имелись. Сооружая этот дом, сэр Фердинандо в сущности был озабочен лишь одной идеей – правильным расположением отхожих мест. В 1573 году он даже опубликовал небольшую книжечку на эту тему – теперь она стала библиографической редкостью – под названием «Несколько интимных советов от одного из Ее Величества почтеннейших тайных советников, сэра Ф.Л.», в которой проблема рассматривается с глубоким знанием дела и изяществом. Главный принцип организации санитарии дома состоял в том, чтобы обеспечить максимально возможное удаление отхожих мест от сточной системы. Отсюда следовало, что поместить их необходимо в верхней части дома и соединить вертикальными трубами с отстойниками и прорытыми в земле каналами. Не следует думать, что сэра Фердинандо заботили только приземленные соображения сугубо гигиенического толка; у него были и определенные причины духовного свойства для размещения удобств в столь высоком месте. Ибо, как он утверждает в третьей главе своих «Интимных советов», естественные нужды организма настолько низменны и грубы, что, справляя их, мы неизбежно забываем о том, что являемся благороднейшими творениями мироздания. Чтобы противодействовать этому разлагающему эффекту, он рекомендовал устраивать туалеты в домашних помещениях, наиболее приближенных к небу, и снабжать их окнами, открывающими широкую и благородную панораму, а также обустраивать стены в этих помещениях книжными полками, на которых стояли бы самые зрелые плоды человеческой мудрости, такие как «Книга притчей Соломоновых», «Утешение философией» Боэция, собрания высказываний Эпиктета и Марка Аврелия, «Энхиридион» Эразма Роттердамского и прочие произведения, древние и современные, вызывающие к благородству человеческой души. В Кроме он имел возможность воплотить свои теории на практике. На вершине каждой из трех башен он поместил туалет. Оттуда на всю высоту дома – а это, заметим, более семидесяти футов – тянулись шахты, которые проходили через подвалы и соединялись с цепью подземных трубопроводов, расположенных на уровне фундамента верхней террасы и промываемых проточной водой. В нескольких сотнях ярдов ниже рыбьего пруда сточные воды выливались в реку. Общая длина каждого трубопровода от вершины башни до подземной части составляла сто два фута. Восемнадцатый век с его страстием к модернизации смел этот изобретательный памятник санитарии. Если бы не устное предание и не описание, оставленное самим сэром Фердинандо, мы бы знать не знали о существовании этих благородных удобств. Можно даже предположить, что дом был построен в столь необычном и величественном стиле исключительно из эстетических соображений.

Воспоминания о былом величии всегда вызывали у Генри Уимбуша некоторое воодушевление. Вот и на протяжении этой речи его лицо под серым котелком стало подвижным

²⁷ Английский поэт, художник, издатель, неофициальный лидер Движения искусств и ремесел. Знаменитый «Красный дом», построенный им для своей семьи, стал воплощением идеи о соединении высокого искусства с повседневной жизнью.

и светилося. Размышления об исчезнувших отхожих местах глубоко взволновали его. Потом он замолчал, свет постепенно угас на его лице, и оно снова превратилось в реплику учтиво-строгого головного убора, под сенью которого пребывало. Наступила долгая тишина, казалось, что всеми овладели такие же смутно печальные мысли. Постоянство и быстротечность... Сэр Фердинандо с его отхожими местами ушел в прошлое. А Кром по-прежнему стоит. Как ярко сияет солнце и как неотвратима смерть! Неисповедимы пути Господни, но человеческие еще более неисповедимы...

– Сердце радуется, – заговорил наконец мистер Скоуган, – когда слушаешь рассказы о чудаковатых английских аристократах. Придумать теорию отхожих мест и построить огромный великолепный дом, чтобы воплотить ее на практике, – это же замечательно, восхитительно! Я люблю размышлять о них: об эксцентричных лордах, разъезжающих по всей Европе в тяжеловесных каретах и выполняющих самые причудливые миссии. Один едет в Венецию, чтобы купить гортань Бьянки; он, разумеется, не получит ее, пока она не умрет, но это не имеет никакого значения, он готов ждать, у него – целая коллекция гортаней знаменитых оперных исполнителей, заспиртованная в стеклянных колбах. А еще инструменты прославленных музыкантов-виртуозов, их он тоже собирает и намерен выторговать у Паганини его маленькую Гварнери, хотя шансы на успех невелики. Паганини не продаст свою скрипку, но, возможно, согласится пожертвовать одной из своих гитар. Другие одержимы крестовыми походами и участвуют в них: кто-то – чтобы безвестно сгинуть среди диких греков, кто-то – чтобы в белом цилиндре предводительствовать итальянцами в их борьбе против угнетателей. Есть и такие, у кого вовсе нет занятий, они просто выгуливают свои капризы в континентальной Европе. Дома они с еще большей изобретательностью используют свой досуг. Бекфорд строит башни, Портленд копает ямы, Кавендиш, миллионер, живет в конюшне, не ест ничего, кроме баранины, и развлекается – о, исключительно ради собственного удовольствия – тем, что на полвека предвосхищает открытия в сфере электричества. Великолепные сумасброды! Они добавляют живости каждой эпохе. Когда-нибудь, мой дорогой Дэнис, – мистер Скоуган перевел на него горящий взор, – когда-нибудь вы должны стать их биографом и написать «Жизнь чудаков». Какая тема! Я бы и сам не прочь за нее взяться.

Мистер Скоуган сделал паузу, еще раз окинул взглядом возвышающуюся громаду дома и два или три раза пробормотал: «Эксцентричность».

– Эксцентричность... Это индугенция для всех аристократий. Она оправдывает унаследованные состояния праздных классов, их привилегии, доходы от капиталов и прочие несправедливости подобного рода. Если вы хотите сделать что-нибудь разумное в этом мире, нужно иметь класс людей, надежно защищенных, независимых от общественного мнения, не опасющихся бедности, имеющих досуг, не вынужденных тратить время на рутину, называемую честным трудом. Нужно иметь класс людей, чтобы принадлежащие к нему могли – в разумных пределах – думать и делать то, что им нравится. Нужно иметь класс людей, у которых есть причуды, которые могут позволить себе им потворствовать и которые относятся к причудам как таковым со снисходительностью и пониманием. Это чрезвычайно важно для осознания того, что есть аристократия. Она не только сама эксцентрична – зачастую непомерно, – но и проявляет терпимость, и даже поощряет эксцентричность в других. Чудачества художника или новомодного мыслителя не внушают ей того страха, ненависти и отвращения, какие интуитивно испытывают к ним обыватели. Аристократия – это нечто вроде резервации краснокожих индейцев посреди огромной орды белых бедняков – жителей колонии. Внутри своей резервации дикари развлекаются как хотят – надо признать, зачастую чуточку слишком буйно, – и, когда за ее пределами рождаются родственные им души, она предоставляет им своего рода убежище от ненависти, которую белые бедняки, *en bons bourgeois*²⁸, вымещают на все, что кажется

²⁸ Добропорядочные буржуа (фр.).

им диким или как минимум выходящим за пределы общепринятого. После того как произойдет социальная революция, резерваций не станет, и краснокожие утонут в необозримом море белых бедняков. И что тогда? Потерпят ли они то, что вы, друг мой Дэнис, будете продолжать сочинять свои вилланели?²⁹ Позволят ли вам, бедный Генри, жить в этом доме шикарных отхожих мест и по-прежнему тихо разрабатывать шахты бесполезного знания? А вам, Анна...

– А вам, – перебила его Анна, – продолжать разглагольствовать?

– Можете не сомневаться, – ответил мистер Скоуган, – не позволят. Придется мне заняться каким-нибудь честным трудом.

²⁹ Лирические стихи в старо-французской поэзии.

Глава 12

Блайт, Майлдью и Смат... Мэри была озадачена и расстроена. Быть может, ее подвел слух? Быть может, на самом деле он сказал: Сквайр, Биньон и Шэнкс или Чайлд, Бланден и Ирп? Или даже Эберкромби, Дринкуотер и Рабиндранат Тагор? Может быть. Но ведь раньше слух никогда не подводил ее. Блайт, Майлдью и Смат. Нет, она слышала это отчетливо, и слова врезались ей в память. Блайт, Майлдью... Она вынуждена была нехотя признать, что Дэнис на самом деле произнес эти несуразные слова. Он демонстративно отверг ее попытку завязать серьезную беседу. Это ужасно. Мужчина, который не желает разговаривать с женщиной серьезно только потому, что она – женщина... О, это невыносимо! Или Эгерия³⁰ – или ничего. Наверное, Гомбо все же подходит больше. Правда, его средиземноморское происхождение немного смущает, но у него, по крайней мере, серьезное дело в руках, а она намеревалась общаться с ним именно на почве его работы. А Дэнис? В конце концов, кто такой Дэнис? Дилетант, любитель...

Под мастерскую Гомбо отхватил себе маленький пустующий амбар, уединенно стоявший посреди деревьев за скотным двором. Это было квадратное кирпичное строение с острокопной крышей и маленькими окнами, расположенными высоко под ней вдоль каждой стены. К входной двери была прислонена стремянка с четырьмя перекладинами, так как амбар для защиты от крыс возвышался над землей на четырех массивных опорах из серого камня. Внутри ощущался легкий запах пыли и паутины, и серебристые пылинки всегда плясали в луче света, в любое время дня проникавшем внутрь через то или иное окошко. Здесь Гомбо работал с какой-то, можно сказать, свирепой сосредоточенностью по шесть-семь часов в день. Он создавал нечто совершенно новое, нечто потрясающее, если только удастся это нечто ухватить.

На протяжении последних восьми лет, почти половина которых была потрачена на долгий путь к победе в войне, он трудолюбиво продирался сквозь дебри кубизма. Теперь вышел из них на противоположную сторону. Начинал он с того, что писал формализованную натуру, потом мало-помалу совсем отказался от правдоподобия и воспарил в мир чистой формы, пока наконец не дошел до того, что переносил на полотно исключительно собственные мысли, облеченные в умообразные абстрактно-геометрические фигуры. Процесс оказался трудным, но возбуждающим. А потом, совершенно неожиданно, он в нем разочаровался и ощутил себя загнанным в невыносимо узкие рамки. Ему стало стыдно от того, сколь скудны, грубы и неинтересны формы, которые он способен придумать, между тем как творениям природы нет числа, и все они непостижимо совершенны и утонченны. Да, он покончил с кубизмом, пройдя насквозь и выйдя на другую сторону, но свойственная кубистам дисциплина уберегла его от другой крайности – не позволила впасть в слепое поклонение природе. Он брал у нее богатство, утонченность и сложность форм, но задачей своей всегда считал сведение их воедино и создание на их основе чего-то нового, наделенного волнующей простотой и условностью идеи. Ему не давали покоя исполненные внутреннего драматизма шедевры Караваджо. Формы дышащей, живой реальности рождались из темноты и выстраивались в композиции с восхитительной простотой и неповторимостью математической формулы. Он вспоминал «Призвание апостола Матфея», «Распятие святого Петра», «Лютнистов», «Кающуюся Магдалину». У этого фантастического скандалиста был секрет, да у него был свой секрет! И Гомбо лихорадочно пытался найти и постичь его. Если ему удастся разгадать этот секрет, он создаст нечто грандиозное.

Некая идея уже давно бродила у него в голове и всходила там, словно на дрожжах. У него накопилась целая папка этюдов, он нарисовал эскиз будущей картины, и теперь идея начинала

³⁰ Вероятно, имеется в виду Эгерия – нимфа-прорицательница в древнеримской мифологии, жена римского царя Нумы Помпилия, его советница в делах и наставница в законотворческой деятельности.

обретать форму на холсте. Человек, упавший с лошади. Гигантское животное – белая ломовая лошадь – заполняло всю верхнюю половину холста. Ее склоненная до земли голова находилась в тени; внимание зрителя приковывали огромное костлявое тело и ноги, обрамлявшие картину с обеих сторон как колонны некой арки. Между ногами этой махины на земле лежала укороченная перспективой фигура мужчины: голова на переднем плане, руки раскинуты в стороны. Безжалостно ослепительный свет лился откуда-то справа. Животное и распростертый человек были ярко освещены, а вокруг них царила непроглядная тьма. Посреди этой тьмы они являли собой собственную замкнутую вселенную. Итак, верхняя часть картины была заполнена корпусом лошади, ноги с гигантскими копытами, тяжело, неподвижно попиравшими землю, ограничивали ее по бокам. Внизу лежал человек: в самом центре на переднем плане – запрокинутое лицо, руки раскинуты к краям картины. Под аркой лошадиного брюха, в глубине, между ног животного – крошечная тьма, замыкавшаяся снизу фигурой распростертого человека. Бездна тьмы, окруженная освещенными формами...

Картина была готова более чем наполовину. Все утро Гомбо работал над мужской фигурой и теперь устроил себе перерыв, чтобы выкурить папиросу. Сидя на стуле, он откинулся на его задних ножках до самой стены и задумчиво смотрел на свое полотно. Оно ему нравилось, но в то же время он чувствовал себя опустошенным. Сама по себе картина была хороша, он это понимал. Но что-то, чего он искал, что-то, что сделало бы его работу поистине грандиозной, если бы удалось это что-то ухватить... Ухвачено ли оно? И удастся ли ему когда-нибудь его ухватить?

В дверь трижды тихо постучали – тук-тук-тук. Гомбо повернул голову. Никто никогда не беспокоил его во время работы – это было одним из неписанных правил.

– Войдите! – сказал он.

Дверь, которая была чуть приоткрыта, распахнулась, и в нее просунулась Мэри. Она решила подняться только до середины стремянки. Если он не захочет ее принять, так легче будет ретироваться с достоинством, чем если бы она взобралась на самый верх.

– Можно войти? – спросила она.

– Конечно.

Мэри одним прыжком преодолела две последние ступеньки и через секунду уже перешагивала порог.

– Вам с последней почтой пришло письмо, – проговорила она. – Я подумала, может, это что-то важное, и решила вам его принести.

Ее взгляд и детское лицо светились простодушием, когда она передавала ему письмо, хотя трудно было придумать более неубедительный предлог.

Гомбо мельком взглянул на конверт и, не открывая, сунул в карман.

– К счастью, – произнес он, – ничего важного. Но все равно большое спасибо.

Оба замолчали. Мэри почувствовала себя немного неловко, но, набравшись храбрости, наконец спросила:

– Можно мне взглянуть на то, что вы пишете?

Гомбо успел выкурить папиросу лишь наполовину и в любом случае не собирался возвращаться к работе, пока не докурит ее до самого основания, поэтому решил дать ей эти пять минут.

– Здесь место, откуда лучше всего смотреть, – пояснил он.

Некоторое время Мэри молча делала вид, что рассматривает картину. На самом деле она не знала, что сказать, поскольку была ошарашена и сбита с толку. Она ожидала увидеть шедевр кубизма, а вместо этого перед ней – изображение лошади и человека, не просто, а даже как-то вызывающе реалистическое. Trompe-l'œil³¹ – другого слова не подберешь, чтобы охарактере-

³¹ Оптическая иллюзия, живопись в технике «trompley» – иллюзорно-перспективная живопись (*фр.*).

ризовать правильность перспективы и тщательность, с какой выписана человеческая фигура под грузно опирающимися о землю лошадиными ногами. Что она должна об этом подумать? И что сказать? Мэри совершенно растерялась. Можно, конечно, восхищаться репрезентализмом³² у «старых мастеров». Это очевидно. Но в современном искусстве... В восемнадцать лет это еще, пожалуй, простительно. Но теперь, после школы, полученной ею во время пятилетнего общения с лучшими знатоками искусства, естественной реакцией на современное произведение, выполненное в технике репрезентализма, было презрение, едва сдерживаемый пренебрежительный смех. И что на Гомбо нашло? Прежде она безо всякой натуги восхищалась его работами. Но теперь не знала, что и думать. Она попала в затруднительное, очень затруднительное положение.

– Здесь богатая игра светотени, не так ли? – выдавила она наконец, мысленно поздравив себя с тем, что придумала критическую формулу, весьма деликатную и в то же время пронизательную.

– Верно, – согласился Гомбо.

Мэри была довольна: он вступил с ней в серьезный профессиональный диалог. Она наклонила голову набок и прищурилась.

– По-моему, это ужасно мило, – сказала она, – но, конечно, немного слишком... слишком репрезентативно, на мой вкус.

Она посмотрела на Гомбо, тот молчал, продолжая курить и не отрывая задумчивого взгляда от картины. Мэри продолжила с придыханием:

– Этой весной, будучи в Париже, я видела много работ Чаплицкого. Они меня безмерно восхищают. Конечно, они теперь стали пугающе абстрактны – пугающе абстрактны и пугающе интеллектуальны. Он наносит на холст всего несколько овалов – абсолютно плоских, знаете ли, и притом только чистыми, первичными красками. Но композиция получается удивительной. Он с каждым днем все больше уходит в абстракцию. В работах, которые я там видела, он полностью отказался от третьего измерения и подумывал о том, чтобы отказаться от второго. Скоро, говорит он, останутся лишь нетронутые холсты. Таков логический исход. Предельная абстракция. Живопись в идеально чистом виде; и он ведет ее к этому идеалу. А когда Чаплицкий его достигнет и покончит с живописью, переключится на архитектуру, которую считает более интеллектуальным занятием, нежели живопись. Вы с этим согласны? – спросила она все так же с придыханием.

Гомбо бросил на пол окурки и растоптал его.

– Чаплицкий покончил с живописью, а я – со своей папиросой. Но я, в отличие от него, собираюсь продолжить писать, – произнес он и, подойдя к Мэри, обнял ее за плечи и развернул спиной к полотну.

Мэри подняла на него глаза, колокол золотистых волос беззвучно качнулся. Ее взгляд был безмятежным, она улыбалась. Итак, момент настал. Его рука у нее на плечах, он двигается медленно, почти неощутимо, и она двигается с ним в такт. Это напоминало прогулку с Аристотелем.

– Так вы согласны с ним? – повторила она. Момент, может, и настал, но она ни в какой ситуации не утратит серьезности и не перестанет быть интеллектуалкой.

– Не знаю. Мне нужно об этом подумать. – Хватка Гомбо ослабла, и его рука соскользнула с ее плеча. – Осторожнее на лестнице, – заботливо предупредил он.

Мэри в недоумении оглянулась. Они были уже перед открытой дверью. Она постояла мгновение в растерянности: рука, только что покоившаяся у нее на плече, соскользнула ниже и три-четыре раза легонько шлепнула ее по спине. Машинально повинувшись этому побуждению, Мэри двинулась вперед.

³² Репрезентализм в философии – вид объективного реализма.

– Спускайтесь по лестнице осторожно, – еще раз предупредил Гомбо.

Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и Мэри очутилась одна в маленьком замкнутом зеленом пространстве. Потом в задумчивости пошла обратно к дому через скотный двор.

Глава 13

Выйдя к обеду, Генри Уимбуш принес с собой довольно пухлую картонную папку с печатными листами.

– Сегодня, – сказал он, демонстрируя папку с некоторой торжественностью, – сегодня я получил полный оттиск моей «Истории Крома». Не далее как этим вечером я помогал набирать последнюю страницу.

– Это ваша знаменитая «История»? – воскликнула Анна.

Сочинение и печатание этого *Magnum Opus*³³ длилось столько, сколько Анна помнила себя. На протяжении всего детства «История» дядюшки Генри была для нее чем-то неопределенно-сказочным, о чем часто слышали, но чего никогда не видели.

– На нее ушло почти тридцать лет моей жизни, – пояснил мистер Уимбуш. – Двадцать пять лет на написание и почти четыре – на печатание. И вот она завершена – полная хроника событий: от рождения сэра Фердинандо Лапита до смерти моего отца Уильяма Уимбуша – более трех с половиной веков. История Крома, написанная в Кrome и отпечатанная в Кrome на моем собственном печатном станке.

– Будет ли нам позволено прочесть ее теперь, когда она завершена? – спросил Дэнис.

Мистер Уимбуш кивнул.

– Разумеется, – ответил он и скромно добавил: – И я надеюсь, что вы найдете ее небезынтересной. Наша несгораемая комната для хранения архивов чрезвычайно богата старинными документами, и мне удалось совершенно по-новому осветить вопрос о введении в обиход трехзубых вил.

– А люди? – спросил Гомбо. – Сэр Фердинандо и все остальные, было в их жизни что-то увлекательное? Семейные трагедии или преступления?

– Дайте вспомнить. – Сэр Генри задумчиво почесал подбородок. – Мне на ум приходят два самоубийства, одна насильственная смерть, четыре или, быть может, пять разбитых сердец и с полдюжины маленьких пятен на гербе в виде мезальянсов, адюльтеров, внебрачных детей и тому подобного. Нет, в общем и целом это мирная история, не изобилующая событиями.

– Уимбуши и Лапиты всегда были законопослушными людьми, не склонными к авантюризму, – добавила Присцилла с оттенком презрения. – Вот если бы мне пришлось писать историю моей семьи!.. Боюсь, это было бы от начала до конца одно сплошное пятно.

Она игриво рассмеялась и налила себе еще бокал вина.

– А если бы такую задачу поставили передо мной, – вмешался мистер Скоуган, – никакой истории не было бы вовсе. Все, что происходило за пределами двух прошлых поколений Скоуганов, тонет во мраке неизвестности.

– После обеда, – сказал Генри Уимбуш, немного уязвленный пренебрежительным комментарием жены относительно хозяев Крома, – я прочту вам эпизод из моей «Истории», который заставит вас признать, что даже у Лапитов, при всей их благопристойности, были свои трагедии и необычные приключения.

– Рада слышать, – отозвалась Присцилла.

– Рады слышать – что? – поинтересовалась Дженни, неожиданно выскочив из своего частного внутреннего мира, как кукушка из часов. Получив объяснение, она улыбнулась, кивнула, прокуковала свое: «А, понятно» и нырнула обратно, захлопнув за собой дверь.

Когда обед закончился, вся компания перешла в гостиную.

³³ Главный труд жизни (*лат.*).

– Итак, – приступил Генри, пододвигая кресло ближе к лампе. Он надел свое пенсне в черепаховой оправе и принялся аккуратно листать страницы пока непереплетенной книги, а найдя наконец нужное место, поднял голову и спросил: – Можно начинать?

– Давай, – кивнула Присцилла, зевая.

В наступившей почтительной тишине мистер Уимбуш кашлянул, прочищая горло, и приступил к чтению.

– «Младенец, коему было предназначено стать четвертым баронетом рода Лапитов, появился на свет в тысяча семьсот сороковом году. Новорожденный оказался крохотным, весил не более трех фунтов, но с самого начала был крепким и здоровым. В честь деда по материнской линии, сэра Геркулеса Оккама из епископского рода Оккамов, его нарекли при крещении Геркулесом. Его мать, как многие матери, вела дневник, в котором месяц за месяцем отмечала этапы развития сына. Он научился ходить в десять месяцев и, еще не достигнув двух лет, произносил немало слов. В три года он весил не более двадцати четырех фунтов, а в шесть, хотя прекрасно умел читать и писать, а также проявлял недюжинные музыкальные способности, был не выше и не тяжелее рослого двухлетнего ребенка. Тем временем его мать родила еще двух детей, мальчика и девочку, один из которых умер от крупа в младенчестве, а жизнь другой унесла чума, не дав дорасти и до пяти лет. Геркулес остался единственным выжившим ребенком в семье.

Когда Геркулесу исполнилось двенадцать, его рост не превышал трех футов двух дюймов. Голова его, очень красивая, благородной формы, для такого тела казалась чрезмерно большой, но во всем остальном он был сложен изящно и пропорционально и обладал изрядными для своих габаритов силой и ловкостью. Родители в надежде стимулировать его рост обращались ко всем самым выдающимся светилам своего времени и выполняли их предписания тщательнейшим образом, но все оказалось напрасно. Один рекомендовал обильное употребление мяса, другой – физические упражнения, по совету третьего соорудили раму наподобие дыбы, какие были в ходу у святой инквизиции, и юного Геркулеса с мучительной для него болью растягивали на ней каждый день по полчаса утром и вечером. За три следующих года Геркулес прибавил, может быть, два дюйма, после чего рост его окончательно прекратился, и до конца жизни он оставался пигмеем не выше трех футов четырех дюймов. Отец, который возлагал на сына самые честолюбивые надежды, мысленно готовя его к военной карьере, сравнимой с карьерой Мальборо, вынужден был смириться с тем, что воплотиться в жизнь его мечтам не суждено. «Я произвел на свет недоноска», – решил он и так страстно возненавидел сына, что мальчик не смел попадаться ему на глаза. Из-за разочарования некогда смиренный нрав отца сменился замкнутостью и жестокостью. Он избегал теперь любого общения (ибо, будучи отцом подобного *lusus naturae*³⁴, стыдился показываться среди нормальных здоровых людей) и пристрастился пить в одиночестве, что и свело его весьма скоро в могилу: не дожив одного года до совершеннолетия сына, он скончался от апоплексического удара. Мать Геркулеса, чья любовь к нему росла обратно пропорционально неприязни отца, пережила мужа ненадолго; чуть больше года спустя, съев две дюжины устриц, она умерла от брюшного тифа.

Так в возрасте двадцати одного года Геркулес остался совершенно одиноким владельцем весьма значительного состояния, включавшего Кром – дом с обширными земельными угодьями. Красота и ум, свойственные ему в детстве, никуда не делись и в более зрелые годы, и, если бы не карликовый рост, он мог бы занять достойное положение среди самых привлекательных и образованных юношей своего времени. Геркулес был начитан в древнегреческой и римской литературах, равно как и в современной, на каком бы языке – английском, французском или итальянском – ее ни написали. Он обладал отменным музыкальным слухом и с чувством играл на скрипке, которую держал, как виолончель – сидя на стуле и сжимая инструмент

³⁴ Каприз природы (*лат.*).

ногами. Особенно он любил клавесин и клавикорды, но играть на этих инструментах не мог из-за малого размера рук. Была у него крохотная, специально для него сделанная из слоновой кости флейта, на которой, находясь в печальном расположении духа, он исполнял простенькие деревенские мелодии, каждый раз убеждаясь, что эта незатейливая крестьянская музыка очищает и возвышает дух гораздо лучше, нежели искусственные творения профессионалов. С ранних лет он сочинял стихи, однако, хоть и признавал за собой изрядный талант в этом искусстве, ни разу не опубликовал ни единой строки. «Мои стихи, – говорил он, – неотрывны от моего роста; если бы публика и читала их, то не потому, что я поэт, а потому, что я карлик». Сохранилось несколько рукописных книг стихов сэра Геркулеса. Достаточно одного примера, чтобы проиллюстрировать его поэтическое дарование.

В исчезнувший, забытый век, когда
Бродили Авраамовы стада
По тучным пастбищам, и пел Омир,
И молод был новорожденный мир,
Железо усмирял кузнец Тувал,
И жил в шатрах кочевник Иавал,
Играл на гусях Иувал, – в те дни
Титанов безобразные ступни
Осмеливались землю попирать,
И Бог, скликая ангельскую рать,
Наслал Потоп, дабы не видеть зла.
Но Теллус новое произвела
Исчадь, – то был Воин и Герой,
Он мускулистой высился горой:
Немилосерд, невыдержан и груб,
Невиданно, не по размерам глуп.
Но шли века, и разумом крепчал
Громадный Воин, дух его смягчал
Порывы плоти, – ростом стал он мал
И дедовской секиры не сжимал
Изящной, благородною рукой.
В безмолвье кабинета, в мастерской
Пером и кистью тонко овладел
И, предпочтя возвышенный удел,
Картинами и славой мудрых книг
Себе бессмертный памятник воздвиг,
Не ростом, а свершеньями велик!
В Искусстве люди силу обрели.
Вот вкратце вся история земли:
Титану унаследовал Герой,
Был страшен первый и смешон второй.
Героя мудрый человек сменил,
Громоздкой плотью он не потеснил
Рассудка, как в безудержные дни,
Когда Титаны грубые одни
Владели миром, и чрезмерный вес
Привел к тому, что дух почти исчез:
Он спал под грудой мяса и костей,

Он разуму не подавал вестей.
Теперь под оболочкой небольшой,
Гордясь освобожденною душой,
Пылает гений, яркий, как Фарос.
Но неужели Человек дорос
До совершенства? Разве мы ушли
От расы великанов и вдали
Достойного не видим образца?
В развитии достигли мы конца?
В сомненьях признаюсь я со стыдом.
Нет, не конец! Спасителем ведом,
К земле обетованной держит путь
Разумный гном, чей ум когда-нибудь
Всевластным станет, – близок золотой
Счастливый век, когда над высотой
Сквозь облака засветится заря,
И, о недавнем прошлом говоря,
Потомки воскресят как наяву
Истории печальную главу,
И, жалость не умея побороть,
Увидят в нас разросшуюся плоть
И те же недозрелые умы,
Какие в великанах видим мы,
В героях «титанических» веков.
Душа освободится от оков,
И тело ловко, как лесной олень,
В лугах носиться будет целый день,
Не будет к малым этот мир жесток,
Природы совершеннейший итог –
Уменьшенный в размерах Человек –
Свое величье утвердит навек.
Увы, земля пока терпеть должна
Бессмысленных гигантов племена,
Хотя и меньше ростом, чем в былом,
Они прославились не меньшим злом.
Вселенской власти захватив бразды,
Своей неполноценностью горды,
Чужих страданий жнут они плоды,
И каждый глупый глиняный колосс
Бахвалится, что до звезды дорос.
Он малое презрительно клянет,
Оправдывая великанский гнет.
Горька судьба того, кто поспешил
Родиться, кто заранее решил
Счастливой расы возвестить приход,
Кто к свету человечество ведет
И взоры обращает к небесам,
Хотя в геенне пребывает сам.

Вступив во владение поместьем, сэр Геркулес сразу же начал его переустройство. Ибо, несмотря на то что его ничуть не смущала собственная физическая неполноценность – более того, судя по только что процитированным стихам, он во многих отношениях ощущал свое превосходство над обычными людьми, – присутствие мужчин и женщин нормального роста вызывало у него ощущение некоторого неудобства. Сознавая, что должен отказаться от амбиций, связанных с миром больших людей, он решил полностью устраниваться от него и создать в Кроне свой собственный замкнутый мир, в котором все будет ему соразмерно. Следуя этому замыслу, он избавился от старых слуг и постепенно, по мере того как удавалось найти подходящих кандидатов, заменил их другими, карликового роста. За несколько лет он собрал многочисленную челядь, среди которой рост ни одного человека не превышал четырех футов, а самый маленький едва достигал двух футов шести дюймов. Собак своего отца, таких как сеттеры, мастиффы, грейхаунды и свора биглей, он продал или раздарил, так как они были слишком велики и громогласны для его дома, и заменил их на мопсов, кинг-чарлз-спаниелей и собак прочих малорослых пород. Отцовских лошадей он тоже распродал, а для собственных нужд – верховой езды и поездок в экипаже – приобрел шесть черных шетландских пони и четверых пегих нью-форестов с великолепной родословной.

Теперь, когда он привел домашний уклад в полное соответствие со своими потребностями и желаниями, ему оставалось мечтать лишь о том, чтобы найти себе подходящую спутницу жизни, которая разделила бы с ним этот рай. Сэр Геркулес имел чувствительное сердце и между шестнадцатью и двадцатью годами не раз испытал любовные муки. Но именно в любовных делах его физический недостаток стал источником самого горького унижения. Осмелившись однажды открыть свои чувства некой юной особе, своей избраннице, он был жестоко осмеян в ответ, однако не сдался, и тогда она подняла его на руки, встряхнула, как надоедливое ребенка, и велела убираться и никогда ей больше не докучать. Эта история вскоре стала всеобщим достоянием – юная леди сама с удовольствием рассказывала ее повсюду как особо забавный анекдот, – и насмешки и издевательства, посылавшиеся со всех сторон, причинили Геркулесу жестокие страдания. Из стихов, написанных им в тот период, мы знаем, что он даже подумывал расстаться с жизнью. С течением времени тем не менее он преодолел свой позор, но никогда больше, хоть по-прежнему часто влюблялся, порой страстно, не пытался и близко подходить к предмету своей влюбленности. Оказавшись хозяином поместья и получив возможность создать свой собственный мир согласно своим желаниям, он понял: если суждено ему иметь жену – а ему при его чувствительной и любвеобильной натуре этого очень хотелось, – то искать ее он должен там же, где подбирал слуг: среди карликов. Однако выяснилось, что найти подходящую жену ему отнюдь не просто, поскольку он не мыслил себе брака с девушкой, не отличавшейся выдающейся красотой и благородством происхождения. Дочь лорда Бемборо он отверг на том основании, что она была не просто карлицей, но и горбуньей. Еще одну юную леди, сироту, принадлежавшую к очень знатному роду из Гемпшира, – потому, что, как и многие карлики, она обладала сморщенным и отталкивающим лицом. И наконец, уже почти отчаявшись добиться успеха, из некоего заслуживающего доверия источника он узнал, что у графа Тицимало, венецианского аристократа, есть дочь, девушка изысканной красоты и выдающихся достоинств, а росту в ней – около трех футов. Немедленно отправившись в Венецию, он сразу же по приезде нанес визит вежливости графу, который, к изумлению Геркулеса, ютился с женой и пятью детьми в убогой квартирке, в одном из беднейших районов города. Граф и впрямь пребывал в настолько стесненных обстоятельствах, что даже вел переговоры (так гласила молва) со странствующей труппой акробатов и клоунов, которая незадолго до того лишилась своего актера-карлика, о продаже ей своей миниатюрной дочери Филомены. Сэр Геркулес явился как раз вовремя, чтобы спасти ее от такой несчастной судьбы; его настолько очаровали благородство и красота Филомены, что после всего трехдневных ухаживаний он сделал ей официальное предложение, которое было принято девушкой с не меньшей радостью, чем ее отцом, увидев-

шим в будущем английском зяте неиссякаемый и надежный источник доходов. После скромной свадьбы, на которой роль одного из свидетелей исполнял английский посол, сэр Геркулес с женой морем вернулся в Англию, где их ждала, как выяснилось, небогатая событиями, но счастливая жизнь.

Кром со всей своей карликовой челядью привел в восторг Филомену, которая впервые в жизни почувствовала себя свободной, живущей в дружелюбном мире, среди равных. Ее вкусы и вкусы ее мужа почти во всем совпадали, особенно это касалось музыки. У Филомены был красивый голос, на удивление сильный для такой маленькой женщины, она безо всякого усилия брала «ля» в альтовом ключе. Под аккомпанемент мужа, который, как уже упоминалось, играл на своей миниатюрной кремонской скрипке, держа ее как виолончель, она исполняла все самые жизнерадостные и самые нежные арии из опер и кантат своей певучей родины. А однажды, усевшись вместе за клавикорды, они обнаружили, что в четыре руки могут сыграть все, что написано для двух рук обычного размера, и это открытие впредь неизменно доставляло сэру Геркулесу несказанное удовольствие.

Когда не музицировали и не читали вслух по-английски или по-итальянски, что делали весьма часто, они предавались здоровому времяпрепровождению на свежем воздухе: катались в маленькой лодочке по озеру, но чаще ездили верхом или в коляске – эти развлечения, совершенно новые для Филомены, приводили ее в особый восторг. Когда она в совершенстве овладела мастерством наездницы, они с мужем нередко охотились верхом в парке, в те времена гораздо более обширном, чем теперь. Дичью служили для них не лисы и зайцы, а кролики, а свору охотничьих собак заменяли три десятка черных и бежевых мопсов, которые, если их не перекармливать, способны гнать кролика не хуже, чем собаки других мелких пород. Четверо карликов-грумов в алых ливреях верхом на белых эксмурских пони пускали свору по следу, а господин и госпожа в зеленых охотничьих костюмах скакали за ними либо на черных шетландских пони либо на пегих нью-форестах. Картину такой охоты – собаки, лошади, грумы и господа – запечатлел Уильям Стаббс, чьим талантом сэр Геркулес восхищался настолько, что, несмотря на обычный рост художника, пригласил его погостить в имении для создания этого полотна. Еще Стаббс написал портрет сэра Геркулеса и его супруги в их лакированной зеленой коляске, запряженной четырьмя шетландцами. На сэре Геркулесе бархатный камзол сливового цвета и белые бриджи; Филомена – в цветастом муслиновом платье и шляпе с очень широкими полями, украшенной розовыми перьями. Две фигуры в нарядном экипаже четко выделяются на фоне деревьев; в левой части картины деревья отступают и исчезают вдаль, поэтому черные пони вырисовываются на фоне причудливо подсвеченных солнцем золотисто-коричневых грозовых туч в пылающих ореолах.

Так миновало четыре счастливых года. В конце этого срока Филомена обнаружила, что ждет ребенка. Радости сэра Геркулеса не было предела. «Если будет на то воля Божья, – записал он в своем дневнике, – род Лапитов продолжится, и наше особое, утонченное племя будет жить в поколениях, пока в урочное время мир не признает превосходство этих созданий, над которыми привыкло насмехаться». Ту же мысль он выразил в стихотворении, написанном им на рождение сына. Ребенка называли Фердинандо в честь основателя рода.

По прошествии нескольких месяцев тревожное чувство стало закрадываться в души сэра Геркулеса и его жены: ребенок рос с необычайной быстротой. В год он весил столько, сколько Геркулес – в три. «Фердинандо развивается крещендо, – записала Филомена в своем дневнике. – Это кажется неестественным». В полтора года ребенок догнал в росте самого маленького жокея, тридцатилетнего мужчину. Неужели Фердинанду суждено стать человеком нормальных, великанских габаритов? Ни один из родителей не осмеливался произнести подобное вслух, но оба в своих дневниках с ужасом размышляли об этом.

Когда Фердинандо исполнилось три года, он перегнал ростом мать и всего дюйма на два не дотягивал до отца. «Сегодня мы в первый раз обсуждали складывающуюся ситуацию, –

записал сэр Геркулес. – Чудовищную правду больше невозможно скрыть: Фердинандо не такой, как мы. В эту его третью годовщину, в день, когда мы должны были бы радоваться здоровью, силе и красоте нашего ребенка, мы вместе оплакивали наше разбитое счастье. Господи, даруй нам силы нести этот крест».

В восемь лет Фердинандо был таким огромным и пышущим здоровьем мальчиком, что родители, как бы они этому ни противились в душе, решили отправить его в школу. В начале очередного семестра его снарядили и отвезли в Итон. В доме воцарились мир и тишина. На летние каникулы Фердинандо приехал еще более выросшим и окрепшим. «Он груб, ни с кем не считается, и его невозможно ни в чем убедить, – записал сэр Геркулес. – Научить его хорошим манерам можно, видимо, только поркой». Но никакого физического насилия Фердинандо, который был уже на восемнадцать дюймов выше отца, разумеется, не потерпел бы.

Года три спустя, приехав в Кром на летние каникулы, он привез с собой огромного мастиффа, купив его в Виндзоре у какого-то старика, которому было не по карману кормить такую собаку. Это было дикое и непредсказуемое животное; едва войдя в дом, пес набросился на любимого мопса сэра Геркулеса, стиснул его зубами и стал трепать, пока того, полуживого, с трудом у него не отняли. Чрезвычайно разгневанный этим происшествием, сэр Геркулес приказал посадить зверя на цепь в конюшенном дворе. Фердинандо угрюмо ответил, что собака принадлежит ему и он будет держать ее там, где ему нравится. Отец, свирепея, велел ему немедленно увести животное из дома под страхом своего крайнего недовольства. Фердинандо и с места не двинулся. В этот момент в комнату вошла его мать, пес с ходу налетел на нее, сбил с ног, и никто глазом моргнуть не успел, как он свирепо порвал ей руку и плечо; еще секунда – и он вцепился бы ей в горло, если бы сэр Геркулес не выхватил шпагу и не поразил пса прямо в сердце. Повернувшись к сыну, он приказал ему сейчас же покинуть комнату, поскольку ему не подобало находиться в одном помещении с матерью, которую он чуть не убил. И таким устрашающим был вид сэра Геркулеса, ногой попиравшего труп гигантского пса и не выпускавшего из руки шпаги, с которой еще капала кровь, такими властными были его голос, жесты и выражение лица, что Фердинандо в ужасе выскользнул из комнаты и до конца каникул вел себя примернейшим образом. Раны, нанесенные его матери мастиффом, вскоре зажили, но переживания, которые оставил этот инцидент, оказались неизгладимыми; с того дня она постоянно пребывала во власти воображаемого страха.

Два года, проведенные Фердинандо на континенте в путешествии, стали для его родителей временем счастливой передышки. Но даже в этот период мысли о будущем терзали их, и развлечения былых лет уже не могли их утешить. Леди Филомена потеряла голос, а у сэра Геркулеса разыгрался такой ревматизм, что он не мог больше играть на скрипке. Сам он еще охотился иногда со своими мопсами, но жена его чувствовала себя слишком старой и – после происшествия с мастиффом – слишком нервной для подобных занятий. Самое большое, на что она теперь была способна ради доставления удовольствия мужу, следовать за ним на расстоянии в маленькой двуколке, запряженной самыми смиренными старичками-шетландцами.

В день, когда ожидалось возвращение Фердинандо, Филомена, мучимая неясными страхами и дурными предчувствиями, удалилась в свою спальню и слегла в постель. Сэр Геркулес встречал сына в одиночестве. В комнату вошел великан в коричневом дорожном костюме.

– Добро пожаловать домой, сын мой, – приветствовал его сэр Геркулес слегка дрожащим голосом.

– Надеюсь, вы в добром здравии, сэр. – Фердинандо склонился, чтобы пожать отцу руку, потом снова выпрямился. Макушкой отец доставал ему лишь до бедра.

Фердинандо явился не один. Его сопровождали двое друзей, его ровесников, и каждый привез с собой слугу. Вот уже тридцать лет Кром не оскверняло присутствие такого количества представителей обычной человеческой расы. Сэр Геркулес негодовал и страшился, но законы

гостеприимства соблюдал, как того требовали приличия. Он принял молодых людей с угрюмой вежливостью и распорядился, чтобы их слуг хорошо накормили на кухне.

Старый обеденный стол снова извлекли на свет и протерли от пыли (сэр Геркулес с женой давно привыкли обедать за маленьким столом высотой в двадцать дюймов). Саймону, пожилому дворецкому, которого было едва видно над краем большого стола, помогали прислуживать слуги гостей.

Восседавая во главе стола, сэр Геркулес с обычной любезностью поддерживал беседу о приятных впечатлениях заграничного путешествия, о красотах природы и произведениях искусства, увиденных ими за рубежом, о венецианской опере, местных церковных хорах детей-сирот и прочих материях. Молодые люди особо не прислушивались к его рассуждениям, маскируя рвущийся наружу смех притворным кашлем, они развлекались наблюдением за усилиями дворецкого менять тарелки и наполнять бокалы на высоком столе. Сэр Геркулес, сделав вид, что не замечает этого, сменил тему и заговорил о развлечениях на свежем воздухе. Один из молодых людей поинтересовался, правда ли, что, как он слышал, хозяин поместья охотится на кроликов со сворой мопсов. Сэр Геркулес ответил утвердительно и стал подробно описывать процесс охоты. Молодые люди захохотали.

По окончании ужина сэр Геркулес сполз с высокого стула и под предлогом того, что должен проведать жену, пожелал всем спокойной ночи. Поднимаясь по лестнице, он слышал за спиной хохот. Филомена не спала; лежа в постели, она прислушивалась к оглушительному смеху и непривычно громкому топоту на лестнице и в коридорах. Сэр Геркулес пододвинул стул к ее кровати и долго молча сидел рядом, держа жену за руку и время от времени нежно сжимая ее ладонь. Около десяти часов их напугал чудовищный грохот. Звон разбитого стекла, топот, взрывы смеха, рев и крики. Шум не прекращался, поэтому через несколько минут сэр Геркулес встал и, несмотря на мольбы жены не делать этого, решил пойти посмотреть, что происходит. Свет на лестнице не горел, пришлось пробираться на ощупь, осторожно спускаясь со ступеньки на ступеньку и задерживаясь на каждой из них, прежде чем сделать следующий шаг. Шум становился все ближе, и крики начали складываться в различные слова и фразы. Из-под двери столовой пробивалась полоска света. Сэр Геркулес на цыпочках пересек холл. Когда он уже приближался к двери, за ней снова раздался дикий металлический скрежет и звон стекла. Что они там делают? Поднявшись на носочки, он сумел заглянуть в замочную скважину. Посреди разоренного стола отплясывал джигу старый дворецкий Саймон, которого напоили так, что он едва держался на ногах. Под его насквозь пропитавшимися разлитым вином башмаками хрустели осколки битой посуды. Трое молодых людей, сидя вокруг стола, колотили по нему руками и разбитыми бутылками, смеялись и криками подзадоривали его. Трое рослых слуг, прислонившись к стене, тоже гоготали. Вдруг Фердинандо запустил в голову танцора пригоршней грецких орехов, это так ошарашило и изумило карлика, что он споткнулся и рухнул на спину, опрокинув графин и несколько бокалов. Его подняли, влили в него еще бренди и похлопали по спине. Старик лишь бессмысленно улыбался, икая.

– Завтра, – сказал Фердинандо, – мы устроим балетный спектакль с участием всей челяди.

– А на папашу Геркулеса наденем львиную шкуру и дадим в руки булаву, – добавил один из его товарищей. И все трое разразились хохотом.

Сэр Геркулес не стал смотреть и слушать дальше. Он пересек холл в обратном направлении и начал карабкаться по высоким ступеням, испытывая боль в коленях при каждом шаге. Это был конец; отныне ему не было места в этом мире – под одной крышей с Фердинандо им не жить.

Его жена по-прежнему не спала; на ее вопросительный взгляд он ответил:

– Они издеваются над стариком Саймоном. Завтра наступит наш черед.

С минуты они помолчали, потом Филомена сказала:

– Я не хочу увидеть завтрашний день.

– Да, лучше нам его не видеть, – согласился сэр Геркулес.

Отправившись в свой кабинет, он во всех подробностях описал минувший вечер. Еще не закончив, позвонил в колокольчик и приказал явившемуся слуге принести ему горячей воды и к одиннадцати часам приготовить ванну. Закрыв дневник, вернулся в спальню жены и, разведя дозу опиума, в двадцать раз превышавшую ту, которую она принимала от бессонницы, подал ей со словами:

– Вот твоё снотворное.

Филомена взяла стакан, но не выпила его сразу, некоторое время она молча лежала. В ее глазах стояли слезы.

– Помнишь песни, которые мы раньше пели летом *sulla terrazza*?³⁵ – Она пропела несколько тактов из «*Amor, amor, non dormire più*»³⁶ Страделлы, голос ее дрожал. – И ты играл на скрипке. Кажется, это было совсем недавно, но на самом деле так давно, давно, давно. *Addio, amore, a rivederti*³⁷.

Она выпила снадобье и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Сэр Геркулес поцеловал ее руку и вышел на цыпочках, словно боялся ее разбудить. Вернувшись к себе в кабинет и записав последние обращенные к нему слова жены, он потрогал воду в ванне, приготовленной по его распоряжению. Вода была еще слишком горячей, и он снял с полки томик Светония. Ему хотелось перечитать эпизод смерти Сенеки. Он открыл книгу наугад, и в глаза бросилась фраза: «Но к карликам он питал отвращение как к *lusus naturae*, приносящим несчастье». Его передернуло, словно от удара. Этот самый Август, припомнил он, некогда выставил в амфитеатре на всеобщее обозрение юношу из благородной семьи по имени Луций, рост которого не превышал двух футов, а вес – семнадцати фунтов, но который обладал зычным голосом. Он перелистал несколько страниц. Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон... Это была история все нарастающего ужаса. «Сенеку, своего наставника, он принудил покончить собой». А еще был Петроний, который в свой последний час созвал друзей, усадил их вокруг себя и, пока жизнь по каплям вытекала из него через вскрытые вены, попросил говорить с ним не об утешении философией, а о любви и сладостных утехах. Еще раз окунув перо в чернила, сэр Геркулес написал на последней странице своего дневника: «Он умер, как римлянин». Потом, потрогав пальцами ноги воду и найдя ее температуру достаточно комфортной, скинул банный халат и, взяв в руку бритву, погрузился в ванну. Одним резким движением он сделал глубокий разрез на левом запястье, откинулся, положив голову на бортик, и настроился на размышления. Кровь медленно сочилась из раны, образуя постепенно растворяющиеся в воде завитки и спирали. Вскоре вся вода окрасилась в розовый, мало-помалу сгущающийся цвет. Сэр Геркулес почувствовал, что его непреодолимо клонит ко сну; неясные видения сменяли друг друга, и вскоре он уже крепко спал. В его маленьком теле было не так много крови».

³⁵ На террасе (*ит.*).

³⁶ Любовь, любовь, больше не спи (*ит.*).

³⁷ Прощай, любимый, до встречи (*ит.*).

Глава 14

Чтобы выпить кофе после ланча, компания обычно собиралась в библиотеке. Ее окна выходили на восток, и в этот час она была самым прохладным помещением во всем доме – просторная комната, стены которой в восемнадцатом веке заставили изящными белыми книжными полками. Посередине одной из стен имелась дверь, замаскированная под стеллаж с рядами фальшивых книг, она вела в глубокую кладовую, где среди скоросшивателей для писем и подшивок старых газет дряхлая в темноте мумия египетской дамы, привезенная вторым сэром Фердинандо из своего путешествия по Европе. С расстояния в десять ярдов и при первом взгляде эту потайную дверь можно было принять за стеллаж с настоящими книгами. Перед муляжом стоял мистер Скоуган с чашкой кофе в руках и, прихлебывая, проводил инвентаризацию библиотеки.

– Нижний ряд, – говорил он, – заполнен четырнадцатитомной энциклопедией. Она полезна, хоть и скучновата, как «Словарь финского языка» Капрималджа. «Биографический словарь» более привлекателен. «Биографии людей, рожденных великими», «Биографии людей, достигших величия», «Биографии людей, ставших великими невольно» и «Биографии людей, которые так и не стали великими». Еще выше – десять томов «Трудов и странствий» Сомы, между тем как роман неизвестного автора «Охота на дикого гуся» уместился в шести. Так-так, а это что такое? – Мистер Скоуган поднялся на цыпочки и всмотрелся в верхние полки. – Семь томов «Повестей Нокспотча». «Повести Нокспотча», – повторил он и, обернувшись, добавил: – О, дорогой Генри, это жемчужина вашего собрания. Я бы охотно отдал за них всю остальную библиотеку.

Счастливый обладатель множества первых изданий, мистер Уимбуш позволил себе снисходительно улыбнуться.

– Возможно ли, – продолжил мистер Скоуган, – что здесь лишь корешки с названиями? – Он открыл шкаф и заглянул внутрь, словно ожидая увидеть за дверью сами книги. – Фу! – фыркнул он и закрыл дверь. – Пахнет пылью и плесенью. Весьма символично! Человек обращается к великим шедеврам прошлого в надежде на чудесное просветление и, открыв их, находит лишь тьму, пыль и легкий запах разложения. В конце концов, что есть чтение, если не порок, такой же как пьянство, сластолюбие и любой иной способ потакания своим слабостям? Мы читаем, чтобы пощекотать и позабавить свой ум, а пуще всего – чтобы избежать необходимости думать. Тем не менее, «Повести Нокспотча»...

Он глубокомысленно помолчал, барабанив пальцами по корешкам несуществующих, недостижимых книг.

– А я не согласна с вами относительно чтения, – сказала Мэри. – Я имею в виду серьезное чтение, разумеется.

– Конечно, Мэри, конечно, – уверил ее мистер Скоуган. – Я совершенно забыл, что в этой комнате есть серьезные люди.

– Мне нравится идея издания биографических серий, – вступил Дэнис. – Это всеобъемлющий проект, в нем найдется место для всех нас.

– Да, биографии это хорошо, биографии это прекрасно, – согласился мистер Скоуган. – Я представляю их себе написанными в изящном стиле времен Регентства, быть может, самим доктором Ламприером³⁸ – эдакий вербальный Брайтонский павильон³⁹. Вы знаете классиче-

³⁸ Имеется в виду Джон Ламприер (ок. 1765–1824) – автор новаторского для своей эпохи словаря античности. Его «Полный словарь классических имен и названий, упомянутых древними авторами», впервые увидевший свет в 1792 году, переиздавался вплоть до нашего времени и служил источником вдохновения для многих английских поэтов XIX века.

³⁹ Королевский, или Брайтонский, павильон – бывшая приморская резиденция королей Великобритании, памятник архитектуры «индо-сарацинского» стиля 1810-х годов.

ский словарь Ламприера? Ах! – Мистер Скоуган поднял руку и снова уронил ее, давая этим жестом понять, что не находит слов. – Почитайте его биографию Елены, почитайте, как Юпитер в облике лебедя «сумел воспользоваться своим положением», явившись перед Ледой. Подумать только, что и эти биографии великих могли быть, нет, должны быть написаны им! Какой это труд, Генри! А из-за идиотской организации вашей библиотеки мы не можем его прочесть.

– Я предпочитаю «Охоту на дикого гуся», – произнесла Анна. – Роман в шести томах – какое это, должно быть, отдохновение.

– Отдохновение, – повторил мистер Скоуган. – Вы нашли очень верное слово. «Охота на дикого гуся» – крепкое, но немного старомодное произведение, эдакие, знаете ли, картинки из жизни духовенства пятидесятых, персонажи из среды мелкопоместного дворянства, для чувствительности и комизма – крестьяне, и все это на фоне сдержанного описания выразительных красот природы. Все очень добротнo и хорошо, но, как иной пудинг, немного пресновато. Лично мне гораздо интереснее «Труды и странствия» Сомы. Мистер Сом из Сомсхилла. Экцентрик. Старина Том Сом, как называли его близкие друзья. Десять лет он провел на Тибете, организовав там производство очищенного сливочного масла по современным европейским технологиям, и обеспечил себе возможность в тридцать шесть лет отойти от дел с солидным состоянием. Остаток жизни он посвятил путешествиям и размышлениям. И вот результат. – Мистер Скоуган постучал по корешкам фальшивых книг. – А теперь вернемся к «Повестям Нокспотча». Какой шедевр и какой великий человек! Нокспотч был мастером.

О, Дэнис, если бы вы только прочли Нокспотча, вам бы не пришлось в голову писать роман об изнурительных поисках себя молодым человеком, вы бы не стали описывать в бесконечных изощренных подробностях жизнь образованных кругов Челси, Блумсбери и Хэмпстеда. Вы бы попытались создать книгу, которую интересно читать.

Но, увы! Из-за своеобразной организации библиотеки нашего хозяина вы никогда не прочтете Нокспотча.

– Никто не сожалеет об этом больше, чем я, – вставил Дэнис.

– Именно Нокспотч, – продолжал мистер Скоуган, – великий Нокспотч освободил нас от невыносимой тирании реалистического романа. Моя жизнь, говорил он, не настолько длинна, чтобы тратить драгоценное время на описание внутреннего мира представителей среднего класса или на чтение подобных описаний. И вот еще его слова: «Я устал видеть человеческий разум, увязший в трясине социального окружения; предпочитаю описывать его в вакууме, играющим свободно и дерзко».

– Я бы сказал, что порой Нокспотч бывал немного невразумителен, – заметил Гомбо.

– Бывал, – согласился мистер Скоуган. – Намеренно. От этого он казался глубже, чем был на самом деле. Но заумным и двусмысленным он предстал только в своих афоризмах. В «Повестях» он всегда прозрачно ясен. О, эти его повести... Эти повести! Как мне их вам описать? Его поразительные вымышленные персонажи летают по страницам «Повестей», как ярко разодетые акробаты на трапециях. Описываются невероятные приключения, и выдвигаются еще более невероятные гипотезы. Мыслительный процесс и чувства, освобожденные от каких бы то ни было идиотских предрассудков цивилизованной жизни, развиваются в форме замысловатого и утонченного танца, то двигаясь вперед, то отступая, пересекаясь и сталкиваясь. Безграничная эрудиция и безграничная фантазия идут у него рука об руку. Все идеи, существующие и существовавшие в прошлом, во всех представимых сферах бытия, возникают по ходу действия то там, то тут, мрачно ухмыляются или гримасничают, превращаясь в карикатуры на самих себя, а потом исчезают, уступая место чему-то новому. Язык его произведений богат и фантастически разнообразен. Остроумие безгранично. И...

– Не могли бы вы привести пример? – перебил его Дэнис. – Какой-нибудь конкретный пример.

– Увы! – ответил мистер Скоуган. – Великое творчество Нокспотча – все равно что меч Экскалибур. Оно остается глубоко вонзенным в эту дверь и ждет пришествия писателя, обладающего достаточной силой таланта, чтобы вырвать его. Я вообще не писатель и не обладаю необходимым даром для того, чтобы даже попытаться это сделать. Задачу освобождения Нокспотча из его деревянной тюрьмы я оставляю вам, мой дорогой.

– Благодарю, – произнес Дэнис.

Глава 15

– Во времена милейшего Брантома⁴⁰, – витийствовал мистер Скоуган, – все дебютантки, представлявшиеся ко французскому двору, приглашались за королевский стол, и вино им подавалось в красивых серебряных кубках работы итальянских мастеров. Эти кубки – не просто обычные чаши, ибо внутри них были искусно выгравированы весьма фривольные любовные сценки. С каждым глотком, который делала юная дама, эти картинки проступали все отчетливее, и придворные с огромным интересом наблюдали за ней, чтобы увидеть, покраснеет ли она при виде того, что откроется ей на дне, или нет. Если она краснела, они смеялись над ее невинностью, если нет, тоже смеялись – но уже над ее искусностью.

– Вы предлагаете возродить этот обычай в Букингемском дворце? – поинтересовалась Анна.

– Нет, – ответил мистер Скоуган. – Я просто пересказал этот анекдот в качестве иллюстрации простодушия и раскрепощенности нравов шестнадцатого века. Я мог бы привести и другие примеры, чтобы показать: обычаи семнадцатого и восемнадцатого, пятнадцатого и четырнадцатого, а в сущности всех веков, начиная с времен Хаммурапи, были такими же простодушными и раскрепощенными. Единственным столетием, в котором нравы не отличались подобной веселой искренностью, было благословенной памяти девятнадцатое столетие. Это удивительное исключение. И все же – притом, что это должно счесть осознанным неуважением к истории – нормальными, естественными и правильными в этом веке считались многозначительные умолчания; откровенность предыдущих пятнадцати-двадцати тысяч лет воспринималась как нарушение нравственных норм и испорченность. Занятный феномен.

– Полностью согласна, – придыхая от волнения, вызванного желанием донести свою мысль, сказала Мэри. – Хэвлок Эллис⁴¹ говорит, что...

Мистер Скоуган поднял руку на манер полицейского, останавливающего движение на дороге.

– Да, говорит. Я знаю. И это подводит меня к следующему пункту: к природе обратной реакции.

– Хэвлок Эллис...

– Обратной реакцией, когда она наступила – а мы знаем, что это случилось незадолго до начала нынешнего века, – стала откровенность, однако отнюдь не того рода, что царила в предыдущие века. Мы вернулись не к фривольности прошлого, а пришли к откровенности научного знания. Любовь стала объектом глубокого научного исследования. Серьезные молодые люди в публичной печати заявляли, что отныне недопустимо, как прежде, шутить на сексуальные темы. Профессора писали толстые книги, в которых стерилизовали и препарировали половые отношения. У многих серьезных молодых женщин вроде Мэри вошло в обычай с философской невозмутимостью рассуждать о предметах, даже намек на которые было бы довольно, чтобы вогнать в состояние любовной лихорадки молодежь шестидесятых. Все это, безусловно, достойно уважения. И тем не менее... – Мистер Скоуган вздохнул. – Мне бы определенно хотелось, чтобы этот научный энтузиазм был чуть больше приправлен жизнерадостным духом Рабле и Чосера.

– Абсолютно с вами не согласна, – заявила Мэри. – Секс – не предмет для шуток; это дело серьезное.

⁴⁰ Имеется в виду Пьер де Бурдейль Брантом (ок. 1527–1614) – летописец придворной жизни времен Екатерины Медичи, один из самых читаемых французских авторов эпохи Возрождения.

⁴¹ Генри Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский врач, стоявший у истоков сексологии как научной дисциплины.

– Возможно, – ответил ей мистер Скоуган. – Возможно, я циничный старик. Но должен признаться, что не могу всегда рассматривать его только в серьезном ключе.

– Но говорю же вам... – гневно начала было Мэри. Ее лицо покраснело от возбуждения, щеки стали похожи на половинки крупного спелого персика.

– Более того, – как ни в чем не бывало продолжил мистер Скоуган, – оно представляется мне одной из немногих существующих на свете вечных тем, всегда дающих повод позавидовать. Любовь – единственное из сколько-нибудь важных человеческих занятий, в которых удовольствие и смех преобладают, пусть и не так уж значительно, над страданием и болью.

– Категорически не согласна, – повторила Мэри.

Наступила тишина. Анна посмотрела на часы.

– Почти восемь, без четверти, – сказала она. – Интересно, когда же появится Айвор?

Встав с шезлонга, Анна подошла к балюстраде, оперлась на нее локтями и устремила взгляд к дальним холмам, возвышавшимся на другом краю долины. В косых лучах заходящего солнца расстилавшийся впереди ландшафт обозначился более рельефно. Глубокие тени, резко контрастирующие с освещенными местами, придавали холмам особую внушительность. Светотени выявили ранее незаметные неровности земной поверхности. Луговая трава, нивы, листва деревьев казались искусно выгравированными штриховыми линиями. Все поверхности чудесным образом приобрели более насыщенный цвет.

– Смотрите! – вдруг воскликнула Анна, вытянув руку.

По ту сторону долины, вдоль гребня холма, золотисто-розовое облачко пыли быстро несло в солнечных лучах.

– Это Айвор. По скорости видно.

Пыльное облако спустилось в долину и исчезло. Послышался и стал приближаться звук клаксона, имитирующий рев морского льва. А минуту спустя из-за угла дома выскочил Айвор. Его волосы развевались на бегу, он приветливо улыбался всем присутствующим.

– Анна, дорогая! – воскликнул он и обнял ее, потом Мэри и чуть было не заключил в объятия мистера Скоугана. – Ну, вот и я. Я ехал с легендарной скоростью. – Словарь Айвора был богат, но иногда казался несколько причудливым. – Надеюсь, я не опоздал к обеду?

Подтянувшись, он сел на балюстраду и одной рукой обнял огромный каменный вазон, доверчиво-нежно прислонившись виском к его твердому, покрытому лишайником боку. У Айвора были волнистые каштановые волосы, сверкающие глаза невероятной синевы, вытянутая голова, продолговатое лицо и орлиный нос. В старости – хотя представить себе Айвора старым было трудно – его облик мог приобрести жесткость Железного герцога⁴². Но пока в его двадцать шесть лет впечатление производило не столько само лицо, сколько его выражение – живое, обаятельное, улыбчивое. Он ни минуты не пребывал в покое, двигался быстро, но делал это с подкупающей грацией. Казалось, что его стройное хрупкое тело постоянно подпитывается какой-то неиссякаемой энергией.

– Нет, вы не опоздали.

– Вы как раз вовремя, чтобы ответить на один вопрос, – сказал мистер Скоуган. – Мы тут спорим: является ли любовь серьезным делом. Вы как думаете?

Серьезное это дело?

– Серьезное ли? – повторил Айвор. – Вне всякого сомнения.

– Я же вам говорила! – победно воскликнула Мэри.

– Но в каком смысле серьезное? – уточнил мистер Скоуган.

– Я имею в виду любовь как занятие. Ей можно предаваться бесконечно, и это никогда не надоедает.

– Понятно, – произнес мистер Скоуган. – Отлично.

⁴² Имеется в виду Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон, – английский полководец XIX века.

– Можно предаваться ей всегда и везде, – продолжил Айвор. – Женщины восхитительно одинаковы. Немного отличаются фигурами, вот и все. В Испании... – Свободной рукой он начертал в воздухе последовательность пышных форм. – ... с ними на лестнице не разминешься. В Англии... – Он сложил подушечки большого и указательного пальцев и провел этим кольцом сверху вниз, как бы изобразив цилиндр. – В Англии они – как трубочки. Но чувства и у тех, и у других одинаковы. По крайней мере, так подсказывает мой опыт.

– Счастлив это слышать, – сказал мистер Скоуган.

Глава 16

Дамы удалились, и по кругу пошел графин с портвейном. Мистер Скоуган наполнил свою рюмку, передал графин дальше, откинулся на спинку стула и молча обвел взглядом стол. Лениво журчал разговор, но он не обращал на него внимания, улыбаясь, видимо, какой-то своей шутке. Гомбо заметил его улыбку.

– Что вас так веселит? – спросил он.

– Просто я наблюдал за вами, сидящими вокруг стола, – ответил мистер Скоуган.

– А что, у нас такой комичный вид?

– Вовсе нет, – заверил мистер Скоуган. – Меня позабавили собственные размышления.

– И что же это за размышления?

– Абсолютно праздные и исключительно академического свойства. Я поочередно всматривался в каждого из вас и прикидывал, которого из шести первых цезарей вы бы напоминали, если бы получили возможность вести себя по-императорски. Римские императоры – один из моих пробных камней, – пояснил мистер Скоуган. – Ибо они – персонажи, действующие в условиях, так сказать, ничем не ограниченной свободы. Человеческие существа, чье развитие достигло логического предела. Отсюда их уникальная ценность как своего рода мерила, образца. Знакомясь с человеком, я задаюсь вопросом: поставь его на место римского императора, кого из цезарей он бы напоминал – Юлия, Августа, Тиберия, Калигулу, Клавдия или Нерона? Я учитываю каждую черту характера, каждую особенность мышления и психики, малейшие странности и укрупняю их в тысячу раз. Сложившийся образ и позволяет мне соотносить его с тем или иным из императоров.

– А на кого из цезарей похожи вы сами? – спросил Гомбо.

– Во мне потенциально присутствуют все, – ответил мистер Скоуган, – все, за исключением, возможно, Клавдия, который слишком глуп, чтобы быть конечной стадией развития какой-либо из черт моего характера. А вот храбрость и властность Юлия, благоразумие Августа, сладострастие и жестокость Тиберия, безрассудство Калигулы, артистизм и безмерное тщеславие Нерона – все это имеется во мне в зародыше. При удачном стечении обстоятельств из меня могло бы получиться нечто грандиозное. Но обстоятельства против меня. Я родился и вырос в доме приходского священника и всю свою юность занимался тяжелой и абсолютно бессмысленной работой за скудную плату. В результате теперь, достигнув среднего возраста, я представляю собой того бедолагу, каков я есть. Но, быть может, оно и к лучшему. Быть может, к лучшему и то, что Дэнису не дано расцвести в маленького Нерона, а Айвор лишь в потенциале останется Калигулой. Да, так лучше, без сомнения. Однако любопытное было бы зрелище, если бы им выпал шанс неограниченно развить свои потенциальные задатки до крайнего предела. Было бы интересно наблюдать, как их невроты, причуды и грешки набухают почками, превращаются в бутоны и распускаются огромными фантастическими цветами жестокости, гордыни, похотливости и алчности. Цезаря создает среда, так же как пчелиную матку создают особая пища и королевская сота. От пчел нас отличает лишь то, что у них при нужном питании непременно появляется королева. С нами такой уверенности нет; из десяти человек, помещенных в императорское окружение, только у одного окажется крепкий здоровый корень, только одному достанет ума и величия духа, чтобы устоять. Остальные превратятся в цезарей и расцветут в этом качестве полным цветом. Семьдесят-восемьдесят лет назад простодушные люди, читая о «подвигах» Бурбонов в Южной Италии, в изумлении восклицали: подумать только, что такое может происходить в девятнадцатом веке! А совсем недавно мы и сами были потрясены, узнав, что в нашем, еще более удивительном, двадцатом столетии с несчастными неграми в Конго или Амазонии обращаются так же, как во времена короля Стефана обращались с английскими

сервами⁴³. Сегодня же нас подобные события уже и не удивляют. Черно-коричневые⁴⁴ терзают Ирландию, поляки предают силезцев, обнаглевшие фашисты расправляются со своими беднейшими соотечественниками – мы все это воспринимаем как должное. После войны нас ничто уже не способно удивить. Мы создали питательную среду, которая породила сонмы маленьких цезарей. Что может быть более естественным?

Мистер Скоуган допил свой портвейн и снова наполнил рюмку.

– В этот момент во всех уголках мира происходят самые чудовищные события, – продолжил он. – Людей давят, калечат, потрошат, кромсают, свет меркнет в их глазах, и их мертвые тела гнивают. Вопли ужаса и боли волнами проносятся в воздухе со скоростью звука. Три секунды – и их уже не слышно. Прискорбные факты, но разве они заставляют нас хоть сколько-нибудь меньше радоваться жизни? С полной уверенностью можно утверждать – нет. Мы испытываем сочувствие, это несомненно, мы мысленно представляем себе мучения народов и отдельных людей и сострадаем им. Но что такое, в конце концов, воображение и сострадание? Они ничего не стоят, если человек, которому мы сочувствуем, случайно не оказывается причастным к кругу наших привязанностей, и даже в этом случае наше сострадание простирается не слишком далеко. И слава богу, ибо, если бы человек обладал настолько живым воображением и настолько тонкой чувствительностью, чтобы на самом деле постичь и прочувствовать страдания других людей как свои собственные, душа его не знала бы ни минуты покоя. Истинно страдающим людям неведомо счастье. Но, как я уже сказал, слава богу, мы не такие. В начале войны мне казалось, что я действительно всей душой страдаю тем, кто испытывает физические мучения. Но месяц-другой спустя вынужден был признать, что – если по совести – это не так. А ведь у меня, полагаю, более живое воображение, чем у большинства людей. В страдании человек всегда одинок – печальный факт, если тебе выпала доля страдальца, но остальному человечеству он оставляет возможность радоваться жизни.

В комнате повисла тишина. Потом Генри Уимбуш отодвинул свой стул от стола.

– Думаю, нам следует присоединиться к дамам, – сказал он.

– И я того же мнения, – подхватил Айвор, с готовностью вскакивая, и, повернувшись к мистеру Скоугану, добавил: – К счастью, удовольствия получать мы можем вместе. И не всегда обречены быть счастливыми в одиночестве.

⁴³ Сервы (от лат. *servus* – раб) – в средневековой Западной Европе категория феодально-зависимых крестьян, наиболее ограниченных в правах.

⁴⁴ Термин «черно-коричневые» происходит от цвета униформы, которую носили члены военизированной организации, отправленные Англией подавлять восстание в Ирландии.

Глава 17

Айвор энергично опустил пальцы на клавиши в заключительном аккорде своей рапсодии, триумфальная гармония которого была лишь слегка нарушена тем, что большим пальцем левой руки он чуточку задел соседнюю клавишу, но общего впечатления великолепно бурного звучания это не нарушило. А если в целом желаемый эффект достигнут, что могут значить мелкие погрешности? К тому же присоединившаяся к октаве нотка из септимы прозвучала весьма современно. Развернувшись на рояльном табулете, он откинул упавшие на глаза черные волосы.

– Ну вот, – сказал он. – Боюсь, это лучшее, на что я способен.

Послышался рокот благодарностей и аплодисменты, а Мэри, не сводя своих огромных фарфоровых глаз с исполнителя, громко крикнула: «Чудесно!» и судорожно вдохнула, как будто ей не хватало воздуха.

Природа и судьба словно бы соперничали между собой, стараясь наделить Айвора Ломбарда своими самыми изысканными дарами. Он был богат и совершенно независим, при этом хорош собой, обладал неотразимым обаянием, и на его счету значилось столько любовных побед, что он и вспомнить все не мог. Количество и разнообразие его достоинств ошеломяло. У него был красивый, хотя и непоставленный тенор; он умел импровизировать на рояле с поразительным блеском, громко и бегло; был неплохим медиумом-любителем и телепатом и располагал значительными знаниями о потустороннем мире, приобретенными не понаслышке. Умел с невероятной скоростью слагать рифмованные стихи, лихо создавал картины в символическом стиле, и если рисунок его бывал порой слабоват, то колористика всегда производила феерическое впечатление. В любительских театральных постановках ему не было равных, а при случае он мог выступить и в роли гениального кулинара. Айвор напоминал Шекспира лишь тем, что плохо знал латынь и еще хуже греческий. Но для такой натуры, как он, образование казалось излишней обузой, учение только убило бы его врожденные способности.

– Давайте выйдем в сад, – предложил Айвор. – Сегодня чудесный вечер.

– Покорно благодарю, – отказался мистер Скоуган, – но я определенно предпочитаю эти еще более чудесные кресла.

Каждый раз, когда он затягивался, его трубка издавала глухие булькающие звуки. Он выглядел совершенно довольным.

Генри Уимбуш тоже чувствовал себя абсолютно довольным. Взглянув поверх пенсне на Айвора и не произнеся ни слова, он вернулся к затрапезным маленьким бухгалтерским книгам шестнадцатого века, являвшимся сейчас его любимым чтением. О хозяйственных расходах сэра Фердинандо он знал теперь больше, чем о своих собственных.

Компания, собравшаяся под знамена Айвора для прогулки, состояла из Анны, Мэри, Дэниса и – весьма неожиданно – Дженни. Вечер был теплым и безлунным. Они гуляли по террасе, и Айвор пел сначала какую-то неаполитанскую песню: «Stretti, stretti...» – «Прижмись, прижмись...», а потом что-то о маленькой испанской девочке. В атмосфере начала ощущаться некая вибрация. Айвор обнял Анну за талию, положив голову ей на плечо и не переставая петь, повел дальше. Казалось бы, что может быть проще и естественнее? И почему, думал Дэнис, мне никогда не приходило в голову сделать это? Он ненавидел Айвора.

– Давайте спустимся к бассейну, – предложил тот.

Он убрал руку с талии Анны и повернулся, чтобы собрать свое маленькое стадо. Они обогнули торец дома и направились к тисовой аллее, которая вела в нижний сад. Между глухой стеной дома и шеренгой высоких тисов, словно узкое и глубокое ущелье, тянулась тропа, тонувшая в непроглядной тьме. Где-то впереди справа, в просвете между тисами, начинались ступеньки. Дэнис, возглавлявший отряд, осторожно нащупывал дорогу: в такой темноте бес-

сознательно возникает страх оступиться, сорваться с обрыва или напороться на опасное острое препятствие. Вдруг сзади послышалось пронзительное, тревожное: «Ой!», резкий сухой хлопок, который можно было принять за звук пощечины, а потом голос Дженни: «Я возвращаюсь в дом». Ее голос прозвучал решительно, и, еще не успев закончить фразу, она начала таять в темноте. Инцидент, в чем бы он ни состоял, был исчерпан. Дэнис возобновил осторожное движение вперед. Где-то сзади опять запел Айвор, на сей раз тихо и по-французски:

Филлиса по дороге к дому
Сдалась Сильвандру наконец
И поцелуй дружку младому
За тридцать отдала овец.

Мелодия с легким налетом томности то затухала, то становилась громче, и казалось, что окружающая теплая тьма пульсирует, как кровь в сосудах.

Назавтра, выгоду учуяв,
Нежнее стала к удальцу...

– Здесь ступеньки! – крикнул Дэнис. Он провел компанию через опасное место, и минуту спустя те уже чувствовали под ногами мягкий дерн тисовой аллеи. Здесь было светлее, или, по крайней мере, мрак перестал быть непроглядным, поскольку тисовая аллея оказалась шире тропы, по которой они шли вдоль дома. Подняв голову, можно было увидеть между двумя рядами сливающихся в вышине тисовых крон полоску неба с несколькими звездами.

– «И что же? Тридцать поцелуев...» – пропел Айвор и, прервавшись, завопил: «Я вниз бегом!» и ринулся бежать по невидимому склону, с одышкой допевая на ходу:

Он просит за одну овцу.

За ним последовали остальные. Дэнис тащился позади, тщетно призывая всех к осторожности: склон был крутым, недолго и шею сломать. Что со всеми случилось? – недоумевал он. Ни дать ни взять котят, которых опоили кошачьей мятой. Он и сам ощущал какую-то кошачью резвость, однако, как все его чувства, это было в значительной мере теоретическое, так сказать, ощущение, оно не грозило спонтанно выплеснуться наружу и не требовало практического воплощения.

– Осторожнее! – еще раз крикнул он и, едва успев произнести это, услышал впереди звук падения чего-то тяжелого, сопровождавшийся долгим шипением, какое издает человек, от боли втягивающий в себя воздух, а потом жалобное: «Ой-й-й!» Дэнис испытал что-то сродни удовлетворению: говорил же он им, идиотам, а они его не послушали. Он рысцой побежал по склону к невидимому страдальцу.

Мэри запыхтела вниз, как разгоняющийся паровоз. Этот бросок вслепую сквозь темноту казался ей чрезвычайно волнующим и бесконечным. Но вот земля выровнялась у нее под ногами, скорость невольно уменьшилась, и, внезапно наткнувшись на чью-то вытянутую руку, она резко остановилась.

– Ну, вот вы и попались, Анна, – сказал Айвор, сжимая ее в объятиях.

Она сделала попытку высвободиться.

– Это не Анна. Это Мэри.

Айвор разразился веселым смехом.

– Ну конечно! – воскликнул он. – Похоже, я сегодня только и делаю, что попадаю впросак. Один раз уже оплошал, с Дженни.

Он снова рассмеялся, и было в этом смехе столько искреннего веселья, что Мэри не удержалась и рассмеялась тоже. Он не убрал руку, и это показалось Мэри настолько естественным и забавным, что она больше не пыталась освободиться. Так, в обнимку, они и двинулись вдоль бассейна. Для того чтобы он мог положить голову ей на плечо, Мэри была слишком мала ростом, поэтому, ласкаясь, он терся щекой о густые гладкие волосы у нее на макушке. Вскоре он снова запел, и ночь отозвалась на звук его голоса любовным трепетом. Закончив петь, он поцеловал Мэри. Анну или Мэри, Мэри или Анну – судя по всему, большой разницы он не видел. Были, разумеется, мелкие различия, но в целом эффект оставался тем же, а общий эффект, в конце концов, самое важное.

Дэнис спустился к подножию.

– Вы ничего не повредили? – задал он вопрос в темноту.

– Это вы, Дэнис? Я ушибла лодыжку... и колено, и еще руку. Я вся разваливаюсь.

– Моя бедная Анна, – сказал он и все же не удержавшись добавил: – Глупо было бежать вниз по склону в темноте.

– Не будьте ослом, – огрызнулась она с раздражением, сдерживая слезы. – Конечно, глупо.

Он присел рядом с ней на траву и уловил восхитительный аромат духов, всегда витавший вокруг нее.

– Зажгите спичку, – велела она. – Я хочу взглянуть на свои раны.

Он нащупал в кармане коробок. Язычок пламени взметнулся, потом стал гореть ровно. В его свете волшебным образом соткалась маленькая вселенная, мир красок и форм: лицо Анны, оранжевое дрожание ее платья, ее белые обнаженные руки, лоскуток зеленого дерна, а вокруг – темнота, уплотнившаяся и ставшая непроницаемой. Анна вытянула руки, обе были измазаны землей и зеленым травяным соком, на левой виднелись две-три ссадины.

– Не так плохо, как я думала, – сказала она.

Но Дэнис был страшно расстроен и расстроился еще больше, когда, взглянув на ее лицо, увидел невольные слезы боли, дрожавшие на ее ресницах. Выхватив носовой платок, он принялся стирать грязь с ее исцарапанной руки. Спичка догорела и погасла, зажигать новую пока не имело смысла. Покорно и с благодарностью Анна позволила ему поухаживать за собой.

– Спасибо, – произнесла она, когда он закончил обрабатывать и перевязывать ее ссадины. В ее голосе послышалось нечто, что заставило его почувствовать: она утратила свое превосходство над ним, стала младше него, вдруг превратилась в ребенка. Он ощутил себя невероятно большим, способным ее защитить. Ощущение было настолько сильным, что он инстинктивно обнял ее. Она придвинулась ближе, прильнула к нему, и некоторое время они сидели молча. Потом снизу услышали тихое, но на удивление ясно доносившееся пение Айвора. Он продолжал свою недопетую песню:

Увы, любовь не приневолишь:
Что нынче выдумал хитрец! –
За поцелуй один всего лишь
Он тридцать запросил овец!

Последовала довольно долгая пауза. Можно было предположить, что это время потребовалось, чтобы подарить и принять несколько из тридцати поцелуев. Потом голос снова запел:

Отдаст, бедняжка, все на свете –
Овец, и кошек, и собак
За поцелуи, что Лизетте
Негодник дарит просто так.

Замер последний звук, и настала ничем не нарушаемая тишина.

– Вам лучше? – прошептал Дэнис. – Вам так удобно?

Она кивнула в ответ на оба вопроса.

«Он тридцать запросил овец!» Овца, мохнатый баран, бе-бе-бе?.. Или все же пастух? Да, сейчас он решительно чувствовал себя пастухом. Он был хозяином положения, защитником. Чувство невероятной отваги накатило на него волной, согревающей, как вино. Он повернулся к ней и начал покрывать поцелуями ее лицо, поначалу беспорядочно, потом целенаправленно, ища губы.

Анна отвернулась, поцелуй пришелся в ухо, а следом под его губами оказалась нежная кожа ее затылка.

– Нет, – протестующе сказала она. – Нет, Дэнис.

– Но почему?

– Это помешает нашей дружбе, а она была такой приятной.

– Вздор! – возразил Дэнис.

Она попыталась объяснить:

– Ну как вы не понимаете? Это не... не наш жанр.

Анна не лукавила. Почему-то она никогда не воспринимала Дэниса как мужчину, который может быть любовником; ей никогда не приходило в голову даже представить себе романтические отношения с ним. Он был так нелепо молод, так... так... она не могла подобрать определение, но отлично понимала, что имеет в виду.

– Почему же это не наш жанр? – спросил Дэнис. – И, кстати, какое чудовищное и совершенно неуместное выражение.

– Потому что не наш – и все.

– А если я скажу, что это не так?

– Это ничего не изменит. Я считаю, что не наш.

– Я заставлю вас отказаться от своих слов.

– Хорошо, Дэнис. Только давайте в другой раз. Мне нужно вернуться домой и погреть лодыжку в теплой воде. Она начинает распухать.

Оспаривать возражения, связанные со здоровьем, было неловко. Дэнис нехотя встал и помог подняться своей спутнице. Она осторожно сделала шаг – «Ох-х-х!» – остановилась и тяжело оперлась на его руку.

– Я вас понесу, – предложил Дэнис.

Он никогда не пробовал носить женщин на руках, но в кино это всегда выглядело как необременительная возможность погеройствовать.

– Вы не сможете, – возразила Анна.

– Конечно, смогу. – Он почувствовал себя еще сильнее, способным помочь, как никогда прежде. – Обнимите меня за шею, – велел он.

Она повиновалась, и он, наклонившись, подхватил ее под колени и оторвал от земли. Боже милостивый, какая тяжесть! Спотыкаясь, он сделал несколько шагов вверх по клону, чуть не потерял равновесие и был вынужден отнюдь не плавно опустить, разве что не бросить, свою ношу.

Анна затряслась от смеха.

– Я же говорила, что вы не сможете, бедный мой Дэнис.

– Смогу, – сказал он без особой уверенности. – Попробуем еще раз.

– Это исключительно любезно с вашей стороны, спасибо, но лучше я попробую идти сама.

Она положила руку ему на плечо и, поддерживаемая им, медленно захромала вверх.

– Бедный мой Дэнис! – повторила она и снова рассмеялась.

Он, униженный, молчал. Трудно было поверить, что еще две минуты назад он целовал ее, сжимая в объятиях. Невероятно. Она была беспомощна, как дитя. И вот Анна снова вернула себе превосходство и опять стала далекой, желанной и недостижимой. Надо же было свалить такого дурака – предложить этот дешевый трюк с поднятием на руки. К дому он подходил в состоянии глубочайшей подавленности.

Дэнис помог Анне подняться по лестнице, сдал ее на руки служанке и спустился в гостиную. К его удивлению, там ничего не изменилось. Он почему-то ожидал, что все будет по-другому, – ему казалось, что минула бездна времени с тех пор, как он покинул эту комнату. Как все тихо и гадко, размышлял он, оглядывая присутствующих. Единственным звуком, нарушавшим тишину, оказалось бульканье трубки мистера Скоугана. Генри Уимбуш был по-прежнему полностью поглощен своими бухгалтерскими книгами; он только что сделал открытие: оказывается, сэр Фердинандо имел обыкновение все лето есть устриц, независимо от наличия или отсутствия буквы «р» в названии месяца. Гомбо читал, нацепив на нос очки в роговой оправе. Дженни с загадочным видом карякала что-то в своем красном блокноте. Присцилла, сидя в любимом кресле у камина, изучала какие-то рисунки из сложенной перед ней стопки. Один за другим она отводила их на расстояние вытянутой руки, откидывала увенчанную оранжевой горой голову и, прищулив глаза, долго и внимательно разглядывала. На ней было платье очень светлого оттенка морской волны; на обсыпанной розовато-лиловой пудрой пышной груди, открывающейся в глубоком декольте, мерцали бриллианты. Из рта у нее торчал под углом невероятно длинный мундштук. Высоко взбитая прическа тоже была инкрустирована бриллиантами; они вспыхивали каждый раз, когда Присцилла поворачивала голову. В стопке лежал цикл работ Айвора – зарисовки потусторонней жизни, сделанные им во время путешествия в состоянии транса по иному миру. На обороте каждого рисунка имелись пояснения: «Портрет ангела, 15 марта 1920 г.»; «Астральные существа во время игры, 3 декабря 1919 г.», «Группа душ на пути в высшую сферу, 21 мая 1921 г.». Прежде чем рассматривать сам рисунок, Присцилла читала его название на обороте. Как ни старалась – а старалась она усердно, – Присцилла никогда не испытывала видений, и ей не удавалось установить связь с миром духов. Приходилось довольствоваться чужим опытом.

– А куда вы подевали остальных? – спросила она, взглянув на вошедшего в комнату Дэниса.

Он объяснил: Анна легла в постель, Айвор и Мэри еще в саду. Потом, выбрав книгу и удобное кресло, попытался, насколько позволяло расстройство чувств, сосредоточиться на чтении. Лампы излучали безмятежный свет; все пребывало в полном покое, если не считать легкого движения, которое производила Присцилла, перебирая рисунки. Как тихо и как гадко, снова мысленно повторил Дэнис, тихо и гадко...

Прошло не меньше часа, прежде чем появились Айвор и Мэри.

– Мы ждали восхода луны, – сказал Айвор.

– Она сейчас находится между второй четвертью и полнолунием, – добавила Мэри с исключительной научной точностью.

– Там, в нижнем саду, так красиво! Деревья, аромат цветов, звезды... – Айвор восторженно взмахнул руками. – А уж когда взошла луна, сдержаться было невозможно, я заплакал.

Он сел за рояль и поднял крышку.

– В небе огромное количество метеоритов, – сообщила Мэри всем, кто желал ее слушать. – Должно быть, Земля вступает в период летних метеоритных дождей. В июле и августе...

Но Айвор уже ударил по клавишам. Он старался музыкой передать свои ощущения от сада, звезд, запаха цветов, восхода луны. Он встроил в свою импровизацию даже песнь соловья, которого там не было. Мэри замолчала и слушала его, приоткрыв рот. Остальные как ни в чем не бывало продолжали заниматься своими делами, судя по всему, музыка не произвела на них серьезного впечатления. Оказалось, что как раз в этот июльский день ровно триста пять-

десять лет тому назад сэр Фердинандо съел семь дюжин устриц. Это открытие доставило Генри Уимбушу особое удовольствие. Ему был свойствен глубокий пиетет перед историей рода, и подобные памятные даты восхищали его. Триста пятидесятая годовщина съедения семи дюжин устриц... Жаль, что он сделал свое открытие уже после обеда, а то приказал бы подать шампанского.

Направляясь к себе, Мэри решила заглянуть к Анне. Свет в ее спальне не горел, но она еще не спала.

– Почему вы не пошли с нами в нижний сад? – спросила Мэри.

– Я упала и подвернула щиколотку. Дэнис помог мне вернуться в дом.

Мэри была полна сочувствия. В глубине души она испытала облегчение от того, что отсутствие Анны объяснялось так просто. Там, в саду, ее тревожило смутное подозрение – она даже не могла бы толком объяснить, какое именно, однако испытывала некоторую *louché*⁴⁵ от того, как оказалась наедине с Айвором. Не то чтобы она что-то имела против, отнюдь. Но ей претила мысль, что, возможно, она оказалась жертвой интриги.

– Надеюсь, завтра вам будет лучше, – сказала она и выразила сожаление по поводу того, что Анна многое пропустила: сад, звезды, запахи цветов, метеоритный дождь, через летний сезон которых проходит сейчас Земля, восход Луны в ее почти полной фазе. А потом у них с Айвором завязалась чрезвычайно интересная беседа. О чем? Да почти обо всем. О природе, искусстве, науке, поэзии, звездах, спиритуализме, отношениях между полами, музыке, религии. У Айвора, с ее точки зрения, был интересный склад ума.

Молодые женщины расстались, испытывая нежные чувства друг к другу.

⁴⁵ Здесь: неловкость, двусмысленность (*фр.*).

Глава 18

Ближайшая римско-католическая церковь находилась в двадцати милях от Крома. Айвор, исключительно обязательный в исполнении религиозных обрядов, рано спустился к завтраку, и без четверти десять его машина уже стояла наготове перед входом. Это был стильный, явно дорогой автомобиль, лимонно-желтый, блестящий, с изумрудно-зеленой кожаной обивкой, двухместный – впрочем, если потесниться, можно усестись и втроем; от ветра, пыли и осадков салон защищала прозрачная выпуклая крыша, которая поднималась от середины корпуса и делала машину похожей на элегантный экипаж восемнадцатого века.

Мэри, никогда не присутствовавшая на католической службе, сочла, что это может быть интересным опытом, поэтому, когда седан выезжал из ворот усадьбы, она занимала пассажирское место в его салоне. Рев начал удаляться, удаляться, и вот машина уже скрылась из глаз.

В приходской церкви Крома мистер Бодиэм читал проповедь, оттолкнувшись от восемнадцатого стиха шестой главы Третьей Книги царств: «На кедрах внутри храма были вырезаны *подобия* огурцов и распускающихся цветов» – проповедь имела непосредственное отношение к местным делам. В последние два года вопрос о возведении военного мемориала волновал в Кромех всех, кто имел достаточно времени, мыслительной энергии или коллективистского духа, чтобы размышлять о подобном. Генри Уимбуш активно выступал за библиотеку – краеведческую библиотеку, в которой были бы собраны материалы по истории графства, старинные карты местности, монографии о здешних древностях, словари диалектов, справочная литература по локальной геологии и естественной истории. Он с удовольствием представлял себе, как жители окрестных деревень, воодушевленные подобным чтением, будут по воскресениям устраивать экспедиции для поиска ископаемых артефактов и кремневых наконечников стрел. Сами же деревенские жители предпочитали создание мемориального водоема с водоснабжением. Но самая деятельная и речистая партия под предводительством мистера Бодиэма требовала чего-то, что носило бы религиозный характер, – например, вторую арку с крытой галереей для прохода на церковное кладбище, витражное окно для храма, мраморный монумент, а лучше бы – все вместе. Пока, однако, не было сделано ничего – отчасти потому, что члены мемориального комитета никогда не могли прийти к согласию, отчасти по более существенной причине: по подписке собрали слишком мало денег, чтобы осуществить хотя бы один из предлагавшихся проектов. Каждые три-четыре месяца мистер Бодиэм посвящал этому вопросу проповедь. Последний раз он делал это в марте, так что пришла пора в очередной раз освежить память паствы.

– «На кедрах внутри храма были вырезаны *подобия* огурцов и распускающихся цветов».

Мистер Бодиэм коротко коснулся описания храма Соломона, после чего перешел к храмам и церквям как таковым. В чем главная особенность сооружений, посвященных Богу? С точки зрения обыкновенного человека, очевидно, в том, что они не имеют никакой практической пользы – строения «с вырезанными *подобиями* огурцов и цветов». Соломон мог построить библиотеку – и впрямь, что лучше отвечало бы вкусам мудрейшего в мире человека? Он мог выкопать водоем – что было бы полезнее для такого страдающего от засухи города, как Иерусалим? Но он не сделал ни того, ни другого; он построил дом с вырезанными подобиями огурцов, бесполезный и для практических нужд не предназначенный. Почему? Потому что свою работу он посвящал Богу. В Кромехе идет много разговоров насчет предполагаемого военного мемориала. Военный мемориал по сути своей есть посвящение Богу. Это символ благодарности за то, что первый этап завершившейся мировой войны увенчался триумфом справедливости; в то же время это – воплощенная молитва о том, чтобы Бог не откладывал надолго Второе пришествие – лишь оно может принести окончательный мир. Библиотека? Водоем? Эти идеи мистер Бодиэм отвергал с презрением и негодованием. Такие сооружения возво-

дятся ради человека и они посвящены ему, а не Богу. В качестве военного мемориала подобное абсолютно неуместно. Другое дело крытая арка. Такое сооружение полностью отвечает определению военного мемориала: бесполезное сооружение, посвященное Богу и украшенное резными огурцами. Это правда, что один арочный проход на погост у нас уже есть. Но почему бы не построить еще один? Выдвигались и другие предложения. Витражное окно, мраморный монумент. Оба предложения прекрасны, особенно второе. Уже давно пора возвести наконец этот военный мемориал, ибо скоро может оказаться слишком поздно. В любой момент, словно тать в ночи, Бог может явить нам себя. А между тем на пути осуществления нашего замысла появилась трудность. Собранных средств несоразмерно мало. Всем надлежит делать пожертвования соответственно своим состояниям. Разумно, чтобы те, кто потерял близких на этой войне, внесли сумму, равную той, какую им пришлось бы потратить на погребальные расходы, если бы их близкие скончались дома. Дальнейшее промедление губительно. Военный мемориал должен быть возведен безотлагательно. Мистер Бодиэм воззвал к патриотическому долгу и христианским чувствам присутствующих.

По дороге домой Генри Уимбуш размышлял о том, какие книги он подарит Мемориальной библиотеке, если строительство таковой когда-нибудь осуществится. Он решил пройти тропинкой через поле, так гораздо приятнее, чем плестись по дороге. У первого прохода через изгородь собралась компания деревенских парней, неотесанных молодых людей в чудовищных мешковатых черных костюмах, которые любое английское воскресенье и любой праздник превращают в подобие похорон; все дымили папиросами и грубо хохотали. Компания расступилась перед Генри Уимбушом, и, когда он проходил мимо, парни вежливо прикладывали руку к головному убору. Он отвечал на их приветствия, но при этом лицо его оставалось таким же невозмутимо строгим, как его котелок.

Во времена сэра Фердинандо, размышлял он, как и во времена его сына сэра Джулиуса, у этих молодых людей были бы свои воскресные развлечения даже здесь, в Кrome, в захолустном сельском Кrome. Они могли бы состязаться в стрельбе из лука, играть в кегли, танцевать – словом, принимать участие в общественных увеселениях как люди, сознающие себя членами одной сельской коммуны. А теперь у них нет ничего – ничего, кроме сурового «Клуба для юношей», организованного мистером Бодиэмом, да изредка устраиваемых им же танцев и концертов. Выбор у этих молодых людей невелик: либо скука, либо городские радости в столице графства. Деревенских развлечений не осталось, пуритане выжгли их каленым железом.

У Джона Мэннингема в дневнике от тысяча шестисотого года есть знаменательный пассаж, припомнил он, очень знаменательный пассаж. В Беркшире члены некоего суда магистратов, магистратов-пуритан, прослышали об одном скандальном явлении. Однажды летней лунной ночью они со своими *posse*⁴⁶ отправились в рейд и где-то в горах наткнулись на компанию мужчин и женщин, обнаженными танцевавших среди овец в загоне. Судьи со своими помощниками направили лошадей прямо в гущу танцующих. Как стыдно, должно быть, вдруг стало этим бедным людям, какими незащитными почувствовали себя они, лишенные всякой одежды, против вооруженных всадников в тяжелых сапогах! Танцоров арестовали, выпороли, бросили в темницу и заковали в колодки. С танцами под луной было покончено навсегда. «Интересно, какой старинный житейский обряд, посвященный Пану, прекратил тогда свое существование?» – подумал Генри Уимбуш. Кто знает? Быть может, предки этих людей вот так, под луной, танцевали, когда Адама и Евы еще и в помине не было. Ему нравилось так думать. И вот всего этого нет как и не бывало. Если потанцевать захочется этой деревенщине, им придется на велосипедах тащиться в город за шесть миль. Деревня, лишенная своей исконной жизни,

⁴⁶ *Posse comitatus* (лат. юр.) – группа граждан, созываемая властями для розыска преступника, заблудившегося ребенка или подавления беспорядков.

своих традиционных удовольствий, превратилась в унылое место. Ханжи-магистраты навсегда задули маленький фитилек счастья, который тлел от начала времен.

И над могилой Туллии лампада
Пятнадцать теплилась веков...⁴⁷

Эти строки невольно всплыли у него в голове; ему было тяжело думать о загубленном прошлом.

⁴⁷ Джон Донн, «Эклог, 1613», посвященный бракосочетанию графа Сомерсета и Фрэнсис Говард.

Глава 19

Длинная сигара Генри Уимбуша источала приятный аромат. На коленях у него лежала «История Крома», он медленно переворачивал страницы.

– Никак не могу решить, какой эпизод прочесть вам сегодня, – задумчиво сказал он. – Небезынтересны путешествия сэра Фердинандо. Ну и, конечно, его сын, сэр Джулиус. Это он страдал навязчивой идеей, будто его пот рождает мух, что и довело его в конечном счете до самоубийства. А еще есть сэр Сиприан. – Он стал быстрее перелистывать страницы. – Или сэр Генри. Или сэр Джордж... Нет, пожалуй, ни об одном из них я читать не склонен.

– Но что-нибудь вы должны нам прочесть, – вынув трубку изо рта, настоятельно потребовал мистер Скоуган.

– Думаю, стоит почитать вам о моем деде, – решил Генри Уимбуш, – и о событиях, которые привели к его женитьбе на старшей дочери последнего сэра Фердинандо.

– Отлично, – согласился мистер Скоуган. – Мы слушаем.

– Прежде чем начать, – предупредил хозяин, поднимая голову от книги и снимая пенсне, которое он незадолго перед тем водрузил на нос, – прежде чем начать, я должен сказать несколько предваряющих слов о сэре Фердинандо, последнем из Лапитов. После смерти добродетельного и несчастного сэра Геркулеса Фердинандо оказался владельцем немало приумноженного благодаря расчетливости и бережливости его отца семейного состояния, которое вознамерился истратить и к каковой задаче приступил со всей широтой и бесшабашной веселостью. К сорока годам он проел, а пуще того пропил и просадил на любовные забавы половину капитала и вскоре неизбежно спустил бы тем же образом остальное, если бы ему не посчастливилось влюбиться в дочь приходского священника настолько безумно, что он сделал ей предложение. Юная дама приняла его и менее чем через год стала безраздельной хозяйкой Крома и повелительницей своего мужа. В характере сэра Фердинандо произошла разительная перемена. Он стал вести размеренный и экономный образ жизни, даже проявлял благоразумие, редко выпивая теперь более полутора бутылок портвейна в один присест. Исскакавшее состояние Лапитов снова начало прибывать – и это несмотря на тяжелые времена (сэр Фердинандо женился в тысяча восемьсот девятом году, в разгар наполеоновских войн). Благополучная и достойная старость, осененная радостным созерцанием счастливого взросления своего потомства (к тому времени леди Лапит уже родила ему трех дочерей, и не существовало никаких препятствий к тому, чтобы она подарила ему много других детей, в том числе наследников), и патриархальное упокоение в фамильном склепе казались теперь завидным уделом сэра Фердинандо. Но провидение распорядилось по-иному. Наполеон, уже породивший бесчисленное множество несчастий, стал причиной, пусть косвенной, безвременной и неестественной смерти, положившей конец текущему образу жизни.

С самых первых дней войны с французами сэр Фердинандо, который ценил патриотизм превыше всего, учредил свой особый ритуал празднования наших побед. Как только счастливое известие достигало Лондона, он имел обыкновение тут же закупать огромное количество спиртного, садился в первый же выезжавший из города дилижанс и колесил по всей стране, разнося добрую весть всем встречавшимся на пути и на каждом постоялом дворе щедро угощая всех, кто не отказывался выпить и послушать его. Так после битвы на Ниле он доехал даже до Эдинбурга, а потом, когда кареты, украшенные лавровыми венками в честь победы и ветвями кипариса в знак скорби, отправились дальше распространять новость о победе и гибели Нельсона, он всю холодную октябрьскую ночь просидел на козлах норичского «Метеора» с морским бочонком рома на коленях и двумя ящиками выдержанного бренди под сиденьем. Этот веселый обычай был одним из тех, от которых он вообще-то отказался после женитьбы. Но ни победа на Пиренеях, ни бегство Наполеона из Москвы, ни битва при Лейпциге, ни отречение

тирана не остались не отпразднованными. В 1815 году сэру Фердинандо случилось провести несколько недель в столице. Именно на них пришлась череда тревожных дней, исполненных неизвестности, а потом – победная новость из Ватерлоо. Этого сэр Фердинандо уже выдержать не смог, развеселая юность проснулась в нем. Он поспешил к своему виноторговцу и купил дюжину бутылок бренди тысяча семьсот шестидесятого года закладки. Дилижанс до Бата как раз отправлялся из Лондона. Сунув вознице некую сумму, сэр Фердинандо уселся рядом с ним на козлы и оттуда горделиво возвещал о падении корсиканского чудовища, пуская по кругу бутылку горячительной жидкости. Так они прогромыхали через Аксбридж, Слоу, Мейденхед. Подняли своей великой новостью на ноги спящий Рединг. В Дидкоте один из конюхов на постоялом дворе был так переполнен патриотическими чувствами и бренди тысяча семьсот шестидесятого года, что не сумел должным образом закрепить подпругу. Ночью становилось все холоднее, и сэр Фердинандо понял, что согреть себя стаканчиком виски на каждой остановке недостаточно для поддержания жизненного тепла, и был вынужден пить и во время перегонов. Карета мчалась с головокружительной скоростью – за последние полчаса она преодолела шесть миль, – когда на подъезде к Суиндону, без проявления малейших признаков неустойчивости, сэр Фердинандо внезапно завалился набок и рухнул головой вниз на дорогу. Дилижанс резко дернулся, разбудив спавших пассажиров, и остановился. Кондуктор с фонарем побежал назад и нашел сэра Фердинандо еще живым, но без сознания, изо рта у него струилась кровь. Задние колеса, под которые он угодил, переехали его, сломав ребра и обе руки. Череп был пробит в двух местах. Его подняли, уложили в карету, но он не дожил до следующей станции. Так сэр Фердинандо пал жертвой собственного патриотизма. Леди Лапит больше не выходила замуж и сознательно посвятила остаток жизни благополучию трех своих дочерей – пятилетней Джорджианы и двухлетних близнецов Эмmeliны и Каролины.

Генри Уимбуш сделал паузу, потом снова надел пенсне и заключил:

– Для вступления достаточно. Теперь я могу перейти к чтению отрывка о моем дед.

– Одну минуту, – попросил мистер Скоуган, – позвольте, я снова набью себе трубку.

Мистер Уимбуш ждал. Сидя в дальнем углу комнаты, Айвор показывал Мэри свои рисунки на тему потустороннего мира. Они переговаривались шепотом.

Мистер Скоуган снова раскурил трубку и сказал:

– Ну, начинайте.

И Генри Уимбуш начал:

– «Мой дед Джордж Уимбуш познакомился с тремя «прелестными Лапитками», как их называли, весной тысяча восемьсот тридцать третьего года. Он был тогда двадцатидвухлетним молодым человеком с курчавой светлой шевелюрой и гладким румяным лицом, в котором, словно в зеркале, отражалась его наивная юная душа. Дед получил образование в школе Хэрроу⁴⁸, потом в Крайст-черч⁴⁹, обожал охоту и прочие увеселения на свежем воздухе, но – хотя на стесненность в средствах он никак не мог пожаловаться – развлечения его были весьма скромны и невинны. Его отец, занимавшийся торговлей в Ост-Индии, прочил ему политическую карьеру и в качестве подарка на совершеннолетие, не поскупившись, приобрел для него прелестный маленький муниципальный округ в Корнуолле, имевший представительство в парламенте. Когда же прямо накануне дня совершеннолетия сына Билль о реформе тысяча восемьсот тридцать второго года⁵⁰ прекратил существование этого избирательного округа, его справедливому негодованию не было предела. Начало политической карьеры Джорджа вынуж-

⁴⁸ Одна из девяти старейших и престижнейших мужских средних школ Великобритании.

⁴⁹ Один из аристократических колледжей Оксфордского университета.

⁵⁰ Билль о реформе парламентского представительства, упразднивший часть «гнилых местечек» – обезлюдивших в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков избирательных округов в небольших городах и деревнях.

денно откладывалось. В тот период, когда он познакомился с «преlestными Лапитками», мой дед как раз пребывал в ожидании, отнюдь не проявляя нетерпения.

«Прелестные Лапитки» не преминули произвести на него впечатление. Старшая, Джорджиана, с черными кудрями, сверкающим взором, благородным орлиным профилем, лебединой шеей и покатыми плечами, была по-восточному ослепительна; близняшки, с чуть курносими носиками, голубыми глазами и каштановыми волосами, являли собой пару не отличимых друг от друга типично английских чаровниц.

Однако при первой встрече их манера вести себя была столь неприступна, что, не будь их красота так непреодолимо притягательна, Джорджу никогда бы не хватило храбрости продолжить знакомство. Двойняшки, задрав носики, с видом томного превосходства пытали его, что он думает о новейшей французской поэзии и нравится ли ему «Индиана» Жорж Санд. Но еще хуже был вопрос, которым начала с ним беседу Джорджиана. Подавшись вперед и пригвоздив его взглядом, она спросила, является ли он приверженцем классицизма или трансцендентализма в музыке. Джордж, однако, не растерялся. Он достаточно хорошо разбирался в музыке, во всяком случае, твердо знал, что ненавидит в ней все, что относится к классике, поэтому с готовностью, делавшей ему честь, ответил: «Я поклонник трансцендентализма». Джорджиана пленительно улыбнулась и сказала: «Рада слышать. Я тоже. Вы, конечно, были на концерте Паганини на прошлой неделе? Ах, эта *«Молитва Моисея»!* – Она закрыла глаза. – Знаете ли вы что-нибудь более трансцендентальное?» – «Нет, – ответил Джордж, – не знаю». Он замаялся, хотел было сказать, что больше всего ему понравились «Сельские имитации», но в конце концов решил, что благоразумнее будет промолчать, и оказался совершенно прав. Паганини заставлял свою скрипку реветь по-ослиному, кудахтать как курица, хрюкать, пищать, лаять, ржать, квакать, мычать и рычать, и этот последний номер программы, на взгляд Джорджа, почти компенсировал скуку концерта в целом. При воспоминании о «Сельских имитациях» он улыбнулся от удовольствия. Да, он решительно не был поклонником классики в музыке, он являлся истинным трансценденталистом.

Джордж не ограничился первым знакомством и нанес визит юным дамам и их матушке, которые летом жили в маленьком, но уютном доме неподалеку от Беркли-сквер. Леди Лапит осторожно навела справки и, выяснив, что финансовое положение, характер и семья Джорджа вполне удовлетворительны, пригласила его на обед. Она надеялась и рассчитывала, что все ее дочери войдут в высшее сословие посредством замужества, но, будучи женщиной здравомыслящей, понимала, что лучше подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, и сочла Джорджа Уимбуша прекрасным запасным вариантом для одной из двойняшек.

Во время этого первого обеда пару ему за столом составляла Эммелина. Они беседовали о природе. Эммелина торжественно заявила, что для нее высокие горы – это мир чувств, а городская суeta – пытка. Джордж согласился, что деревенская жизнь приятна, однако заметил, что и лондонский светский сезон⁵¹ имеет свои привлекательные стороны. С удивлением и некоторой озабоченностью он обратил внимание на то, что у мисс Эммелины был плохой аппетит, в сущности, он у нее напрочь отсутствовал. Две ложки супа, крохотный кусочек рыбы – никакого мяса, никакой птицы – да три виноградинки – вот все, что она съела за обедом. Время от времени он бросал взгляд на двух других сестер; и Джорджиана, и Каролина, судя по всему, были столь же воздержанны в еде. Они с деликатным недовольством отвергали все, что им предлагалось, закрывая глаза и отворачиваясь от очередного блюда так, словно вид и запах камбалы, утки, телячьего филе и трайфла⁵² вызывали у них отвращение. Джордж, оценивший обед по достоинству, осмелился высказаться по поводу отсутствия у сестер аппетита.

⁵¹ Период с мая по июль.

⁵² Многослойный традиционный английский десерт, состоящий из печенья или бисквита, фруктов, ягод, прослоенных кремом или взбитыми сливками.

– Заклинаю вас, не говорите со мной о еде, – взмолилась Эммелина, поникнув, словно чувствительное растение. – Мы с сестрами считаем процесс поглощения пищи таким грубым, бездуховным. Когда ешь, невозможно думать о душе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.